

# ЧЕСТЬ



# ОТВАГА

**Михаил  
Пархомов**

Нечаев старался не потерять из виду Игорька и Трояна, головы которых то и дело пропадали в волнах. Его «Дельфин» шел почти по самой поверхности моря — вода достигала Нечаеву только до пояса, — отстав от первой торпеды на несколько десятков метров.

Потом у Нечаева появилась новая забота. Патрульные катера! Но встречи с ними удалось избежать. Стоило Нечаеву нажать на рукоятку, как «Дельфин» послушно погрузился под воду. Пять метров, восемь метров, десять... Ориентируясь по компасу, Нечаев

направил торпеду туда, где, по его расчетам, должен был находиться вход в порт. Не напороться бы только на мину! А сетевое заграждение они преодолеют...

# ЧЕРНЫЕ ДЬЯВОЛЫ

# МУЖЕСТВО

ЧЕСТЬ ● ОТВАГА ● МУЖЕСТВО

*М. ПАРХОМОВ*

# ЧЕРНЫЕ ДЬЯВОЛЫ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК ВЛКСМ  
«МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ»  
1973

**Пархомов Михаил Ноевич**  
**П18** Черные дьяволы. Приключенческая повесть. М., «Молодая гвардия», 1973.

160 с. (Честь. Отвага. Мужество.) 200 000 экз. 21 коп.

Эта приключенческая повесть рассказывает о героических действиях морской пехоты, разведчиков в годы Великой Отечественной войны.

**7—3—2**  
**186—73**

**P2**

Редактор **С. Михайлова.**  
Художник **В. Кухарун.**  
Художественный редактор **Б. Федотов.**  
Технический редактор **З. Ходос.**  
Корректоры **А. Долидзе, Г. Василёва.**

Сдано в набор 7/VII 1972 г. Подписано к печати 31/I 1973 г. А00633. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 2. Печ. л. 5 (усл. 7). Уч.-изд. л. 6,7. Тираж 200 000 экз. Цена 21 коп. Т. П. 1973 г., № 186. Заказ 1157.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: Москва, А-30, Сушевская, 21.

1. С 19.00 8 августа с. г. г. Одесса объявляется на осадном положении.

2. Въезд гражданам в город без специальных пропусков, выдаваемых председателями райисполкомов, запрещается.

3. Во изменение приказа по гарнизону № 21 от 4.8.41 г., движение граждан и всех видов гражданского транспорта с 20.00 и до 6.00 запрещается.

*(Из приказа начальника гарнизона г. Одессы)*

## **Глава первая**

### **КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС**

Случилось так, что сигнал большого сбора он услышал не на корабле, а на берегу.

Была суббота. В тот день Нечаев получил увольнительную. Все счастливики, которым тогда повезло, как водится, долго драили ботинки, утюжили черные клеши. На палубе было шумно и весело. Только вахтенные, скрывая зависть, отводили глаза. А один из них, Костя Арабаджи, подошел к Нечаеву и, неслышно вздохнув, попросил:

— Ты Клавке скажи, что я... В общем, встретимся завтра. Не забудешь?

У Кости на берегу была зазноба.

Нечаев кивнул: обязательно передаст. И привет тоже. Потом,

поправив на голове белую бескозырку, которая крахмально хрустнула под пальцами, он забросил черные ленточки за спину и шагнул к трапу. Там, на плоской ленивой волне, уже покачивался баркас.

До берега было не далеко и не близко — крейсер стоял на рейде. С трех сторон, куда хватал глаз, простиралось раскаленное летнее море. А впереди нарядно и празднично белел Севастополь. Город спускался к воде уступами. Его дома стояли в иссиня-темной зелени: акации сбились в кучи, а над ними, словно бы выстроившись по матросскому ранжиру, застыли кипарисы. Небо над ними было прохладно-знобким, без морщинки, без облачка.

Но вот баркас подошел к пристани. Издалека, с моря, донесся тихий перезвон: было ровно шесть часов, и на кораблях били склянки. Взбежав по широкой лестнице, Нечаев сразу же попал в пестрое, нарядное многолюдье приморского бульвара. Здесь под электрическими часами они всегда встречались с Аннушкой.

Нечаев служил уже второй год. У всех его друзей, по крайней мере, он так думал, были в Севастополе подружки, и только он один, получая ненужные, бессмысленные увольнительные, первое время слонялся по пустынным, добела выжженным улочкам, на которых лежали мохнатые тени; бродил по строгим зеркально-паркетным залам морского музея, заставленным моделями фрегатов и бригантин; а то, делать нечего, по два сеанса просиживал в тесной духоте какого-нибудь кино-театрика, чтобы убить время. Он тщательно скрывал от друзей свое неприкаянное одиночество и, когда его спрашивали, где он пропадает на берегу, напускал на себя, как говорил Костя Арабаджи, восточную загадочность. И все были уверены, что у него завелась на Корабельной стороне девчонка, которую он тщательно скрывает. Так было до тех пор, пока однажды, подни-

маясь с Графской пристани, он не встретил Аннушку.

К незнакомой девушке он не рискнул бы подойти, но Аннушку он знал давно. Впрочем, знал он не ее, а голенастую угловатую девчонку с двумя косицами, дочь агронома, которая в выгоревшем ситцевом сарафане каждое утро появлялась в соседнем саду и собирала в подол абрикосы. Было это давным-давно, когда Нечаев еще учился в школе. И не здесь, в Севастополе, и не в Одессе, в которой он жил, а под Чебанкой. Тогда он на все лето приезжал к деду. Степь. Жнивье. Белые мазанки, белые гуси, купающиеся в жаркой пыли. Белая футболка с закатанными рукавами... Как давно это было! Нечаев спал в саду, под звездами. Там сладко пахло абрикосами и медом. А рядом, за изгородью, был ее сад.

Теперь же перед ним стояла совсем другая Аннушка — стройная, в синей гофрированной юбчонке и белой батистовой блузочке, перехваченной широким лакированным ремнем. Она первая окликнула его и, протянув руку, спросила: «Не узнаешь?»

За это время она успела окончить школу-семилетку и поступить в техникум. Да, она уже на втором курсе... Учится здесь же, в Севастополе, а живет у тетки. Отец? Умер в позапрошлом году. Мать? Осталась там, Аннушка махнула рукой на запад, у них как-никак дом, огород, хозяйство... Потом она сказала, что Нечаеву идет морская форма и что она знала, что встретит его.

Он пошел рядом, пристраиваясь к ее шагу. Было пасмурно. Он слушал ее болтовню небрежно, вполуха. Для него она все еще была голенастой девчонкой. И, только заметив, что встречные морячки смотрят ей вслед, он приосанился.

С этого все и началось. Он спросил, на какой улице она живет, и в следующую субботу пришел к ней. Теперь он ждал субботы, как ждут чуда. И чудо являлось

ему в белой блузочке и прюнелевых туфельках с перепонками. Чудо было изменчиво. Он никогда не знал, что оно выкинет в следующую минуту.

Но им было хорошо вдвоем. Они вспоминали Чебанку с ее кудрявыми садами и псеками, вспоминали студеную воду, хлюпавшую из ведра, когда Нечаев вертел короб, на который наматывалась цепь, — колодец был темен, как глаза Аннушки. Им было что вспомнить. Но это прошлое виделось сквозь дымку. Было жаль, что с ним покончено. У этого прошлого был грустный запах осенних яблок.

— Я, кажется, опоздала...

Она опять застала его врасплох. Она любила появляться неожиданно, совсем не с той стороны, с которой он ждал. Видя, что он сердится, она взяла его под руку.

В парке играл оркестр.

Они уселись за столик, и девушка в кружевном передничке принесла им сливочное мороженое. Потом они стреляли в тире по зайцам и совам. Потом Аннушке захотелось танцевать, и они поднялись на дощатую площадку, вокруг которой горели фонарики. «Танцуем вальс! — объявил узкоплечий парень с черными бачками на птичьем лице. — Кавалеры приглашают дам...» И Нечаев, как заправский кавалер, прищелкнул каблук.

На танцевальной площадке было тесно и душно. Аннушка то и дело обмахивалась белым платочком, который потом засовывала под ремешок часов. На ней была его бескозырка. Когда он попытался отобрать ее, Аннушка увернулась. Знала, что без бескозырки он не может вернуться на корабль. А было уже поздно.

Наконец она сжалась над ним: «Ладно, возьми. Очень надо...» Она поджала губы. И он побежал, все время оглядываясь и думая о том, как бы не опоздать на последний баркас.

Так случилось, что сигнал большого сбора он услышал возле штаба флота.

А потом, стоя на баркасе, он увидел, как один за другим погасли в темной дали инкерманские створные огни и херсонесский маяк. И сразу появилось что-то злое в темном, сгустившемся небе над Севастополем, в темном море. А он, грешным делом, все еще улыбался и теребил бескозырку. И почему это все девчонки любят щеголять в бескозырках?..

Он продолжал улыбаться, даже когда спустился в кубрик. Он был уверен, что все уже спят. Но стоило ему прилечь на свою койку, как сверху свесилась вихрастая голова и Костя Арабаджи спросил шепотом:

— Видел Клавку?

— Видел. Сказала, что будет ждать.

— А у тебя как дела? Впрочем, можешь не отвечать.

Факт на лице.

Нечаев притворился спящим. Косте только попадись на зуб!.. Костя был родом из тихой Балаклавы, но мог заткнуть за пояс любого потомственного одессита. Неужели не отстанет? Но тут Нечаева выручил Яков Белкин. Приподнявшись на локте, тот так рывкнул, что Костя поспешил спрятать голову под подушку.

И стало тихо. Из открытого иллюминатора в кубрик проникал по-ночному теплый шелест моря. В темноте смутно белели простыни и подушки, придавленные головами спящих. А Нечаев лежал и думал, что за полтора года, которые они провели бок о бок в одном кубрике, и балагур Костя Арабаджи, и увалень Яков Белкин — вот о ком не скажешь, что он родом из Одессы! — и тихий Шкляр по прозвищу Сеня-Сенечка, чья койка была напротив, и все остальные матросы стали ему так дороги и необходимы, что теперь он не мыслил себе дальнейшей жизни без них.

Когда корабль выходит в открытое море и вдруг раз-



дается высокий сигнал тревоги, и все занимают свои места согласно боевому расписанию, и от напряженного ожидания на скулах натягивается кожа, — в такие минуты с особой остротой радуешься, что ты не одинок. Хорошо, что рядом с тобой товарищи. Вот они стоят с отрешенными лицами, в брезентовых робах. Один, второй, третий... И вдруг ты начинаешь понимать, что они тебе дороже всех людей на свете. Что ты без них?

И теперь он тоже думал о них. С нежностью. Пусть спят, пусть отдыхают...

Но тут он незаметно для себя соскользнул из действительности в прошлое, в котором было тепло и уютно именно потому, что в нем была Аннушка. В это прошлое он возвращался всегда охотно. Он заметил, что люди вообще живут не столько в настоящем — разговаривают, работают, несут караульную службу, — сколько в прошлом, в этой стране воспоминаний, в которой никогда не бывает ни слишком холодно, ни слишком жарко, потому что она освещена тихим солнцем.

С мыслью об этом Нечаев и заснул.

Разбудил его мощный взрыв, который, должно быть, глубоко вошел в каменистую землю где-то за Камышовой бухтой. Нечаев вскочил. Уже на палубе он услышал громкий гул каких-то самолетов, который заваливался за горизонт, и сердцем почувствовал, что это чужие самолеты.

Было четыре часа утра.

С тех пор уже не стихал тяжелый топот матросских ботинок. Тревога, отбой, тревога, отбой... В этом новом — теперь уже боевом — распорядке дней и ночей не было места для Аннушки. Ее властно отняла у Нечаева война.

Вражеские самолеты бомбили Севастополь. Враже-

ские суда подстерегали крейсер в открытом море. Война... То, что главные сражения разворачивались где-то далеко, на суше, в данном случае не имело значения. Эхо этих ни на минуту не затихающих боев уже слышали и на Урале, и в Сибири.

А сводки между тем становились все более и более зловещими. Кингисеппское направление, Новгородское направление, Гомельское и Одесское направления... Мертвые географические карты с меридианами и параллелями, с низменностями и горными хребтами как бы ожили, пришли в движение... И в один из дней командир крейсера, кавторанг, неожиданно скомандовал:

— Желающие защищать Одессу, шаг вперед!..

Они шагнули вместе, комендоры и электрики, минеры и сигнальщики. Никто из них не мог поступить иначе.

Но кавторанг не мог списать на берег весь экипаж. Специалисты ему самому были нужны позарез. И он, чувствуя неловкость из-за того, что должен кого-то незаслуженно обидеть, а кого-то выделить и как бы наградить своим доверием, сморщился и приказал:

— Отставить!..

Несмотря на золотые нашивки и высокое командирское звание, кавторанг был таким же, как и те загорелые парни, которые стояли в шеренгах напротив него. Он чувствовал то же самое, что чувствовали и они. Поэтому, задумавшись, он приказал принести список личного состава.

— Андриенко — шаг вперед. Арабаджи. Белкин...

Усатый мичман называл фамилии высоким срывающимся голосом, и тревога Нечаева, напрягшего слух, росла с каждой минутой. Вот уже дошла очередь и до Сенечки Шкляра. Потом, назвав старшину второй статьи Петра Яценко, мичман умолк.

Все!.. У Нечаева зашло сердце. Как же так? Его друзья уйдут, а он, Нечаев, останется. Его ноги при-

росли к палубе, словно на него надели свинцовые водолазные калоши. Как же так?..

И тут он услышал голос Кости Арабаджи:

— Товарищ капитан второго ранга. Разрешите обратиться... Ошибочка вышла. А как же Нечаев? Все знают, что он одессит.

— Нечаев? Что ж, твоя правда... Каждый имеет право защищать свой город, свой дом, — кавторанг повернулся к мичману. — Допишите Нечаева.

И снова день стал солнечным, светлым, и веселые блики запрыгали с волны на волну, и все звуки стали громкими, отчетливыми. Очутившись рядом с Костей, Нечаев незаметно пожал его руку.

Их зачислили в одну роту. Нечаева, Костю, Якова Белкина и Сеню-Сенечку. Народ подобрался подходящий, разбитной и веселый. Кто с крейсера «Коминтерн», а кто с эсминцев. И с командиром им тоже повезло. Высокий насмешливый лейтенант представился им необычно. Пройдясь перед строем с заложенными за спину руками, он вдруг резко остановился и произнес:

— Лейтенант Гасовский. Прошу любить и жаловать.

Несколько дней прошло в томительном ожидании. Потом они погрузились на двухтрубный «Днепр». Раньше это было мирное учебное судно, Нечаев его отлично знал. Теперь же оно ощерилось мелкокалиберными зенитками, установленными возле капитанского мостика и на корме, и приняло бравый вид. У зениток стояли молчаливые матросы в брезентовых робах с противогазными сумками через плечо. Они вглядывались в горизонт. И море и небо были враждебно темными.

Разместились в кают-компании. Слышно было, как сипло дышит паровая машина. Севастополь медленно отдалялся, опускаясь все ниже и ниже. Все молчали. И тут появился Гасовский.

— Разобрать пояса! — приказал он. — Живо!..

Пробковые пояса были свалены в кучу. Нечаев посмотрел в ту сторону. Он не думал об опасности. Не все ли равно?

— А на кой они нам, эти пояса? — огрызнулся Костя Арабаджи. — Мы, лейтенант, уже хлебнули моря.

— Вот как? — Гасовский, щурясь, протянул Косте пробковый пояс. — Попрошу надеть.

Его голос оставался ровным, спокойным, но Косте достаточно было увидеть его глаза, ставшие темными, почти бешеными, чтобы он сразу подчинился. Костя шумно вздохнул и, делать нечего, надел пояс. Война!..

А в иллюминаторах синело море. «Днепр» шел ходко, и слышно было, как струится за бортом вода. Говорить не хотелось. Сцепив пальцы на затылке, Нечаев лежал и думал об Аннушке, с которой не успел проститься, и о том, что скоро снова увидит Одессу, в которой родился и вырос. Там, в Одессе, были его сестренка и мать. Как они там?

Берег открылся утром. Это была Одесса, его родная Одесса. Удалая, бесшабашная, не унывающая даже в горе, пропахшая бычками и терпким молдавским вином. Лестницы, колоннады, дома... Только что это? Дома, которые раньше радовали своей белизной, теперь были покрыты струпами грязных пятен. А окна!.. Куда они подевались, эти веселые одесские окна, испокон века отражавшие тихую, ласковую синеву неба и моря? Кто-то замарал их черной краской.

— Камуфляж, — сказал Костя Арабаджи. — А городок, видать, ничего, подходящий.

Одессу Костя видел впервые и старался потрафить друзьям-одесситам. Славный городок!.. О Клавке, оставшейся в Севастополе, Костя уже не тужил. Сейчас он представлял себе, как пройдет с друзьями по знаменитой Дерибасовской, как завалятся в киношку, как Нечаев познакомит его со своей сеструхой, про которую

как-то рассказывал, а Яков Белкин, родившийся в «самом центре Одессы», на Молдаванке, пригласит его на смачный обед. А почему бы и нет? Ведь фронт, говорят, проходит чуть ли не в самом городе, и они всегда смогут отлучиться с передовой на пару часов, — Костя еще не представлял себе, что такое фронт.

Миновав Воронцовский маяк, «Днепр» подошел к причалу, который выдавался далеко в море.

Нечаев вздохнул. Все эти дни он жил войной, ею одной — ее тревогами и надеждами, — но сейчас, когда он ступил на родной берег, война опалила его сердце огнем, и он почувствовал ее особенно остро.

Причал был забит какими-то станками, машинами, повозками, ящиками, тюками и бочками — ни протиснуться, ни пройти. Голосили женщины. Плакали ребята. Сдавленно ржали, шарахаясь от воды, гнемые битюги. Казалось, будто весь город снялся с места. Шум был такой, как когда-то на Привозе.

Пахло морем, потом и ржавой кровью: повсюду на носилках лежали раненые. И хотя стрельбы не было слышно и небо над причалом было прозрачно чистым, глубоким, именно этот стойкий и душный запах войны ежеминутно напоминал о том, что Одесса стала фронтовым городом.

— Бра-ток... за-курить не... найдется?..

Голос шел из бинтов. Он вырывался из черного обуглившегося рта. Из последних сил раненый моряк поднялся на локте.

— Возьми... — Костя Арабаджи опередил Нечаева и протянул моряку мятую пачку. — Где это тебя так?

— Под Чебанкой. Ты помоги, руки у меня тоже...

Костя вставил раненому папиросу в темный рот. Спросил:

— Чебанка, Чсбанка... Где это?

— Близко, — хрипло ответил Нечаев. В его памяти возникли белые гуси в белой пыли.

Между тем моряк глубоко затянулся раз-другой и выдохнул дым в лицо санитару, который стоял рядом с носилками.

— Слышь, санитар. Никуда я не поеду, — сказал он. — Видишь, после двух затяжек сразу полегшало. Ты отпусти меня, санитар. Как друга прошу.

— Турок!.. — огрызнулся санитар. — Куда тебе воевать в такой чалме? Тебе в госпиталь надо. Подлечат тебя, заштопают, тогда и вернешься. Сам мне потом спасибо скажешь.

— Не хочу! Не дамся!.. — раненый рванулся и как-то сразу обмяк.

— Вот видишь, — сказал санитар. — Ты лежи, браток. Пройдет.

Нечаев и Костя отвернулись. В глазах раненого моряка было столько тоски!..

От студенческого общежития, в котором временно разместился отряд, до его родного дома было, что называется, рукой подать. Один квартал, затем поворот, еще квартал, и вот ты уже во весь дух, перепрыгивая через ступеньки, взлетаешь на третий этаж и нажимаешь на обитую жестью (чтобы пацаны не выковыряли) фарфоровую кнопку звонка, и тебе открывает мать, и ты бросаешься к ней...

Нечаев жил на улице Пастера наискосок от театра. Бегал через дорогу в школу-семилетку, потом в спортзал «Динамо» и на водную станцию, а по вечерам пропадал в цирке. Четырехэтажный дом, в котором он жил, ничем не отличался от других. Он был намертво покрыт глухой масляной краской, на его пузатых железных балкончиках пылились фикусы, а когда спадала дневная жара, хозяйки отодвигали занавески и свещи-

вались из всех окон, чтобы посудачить друг с другом. Обычный дом с широкими карнизами, по которым расхаживали коты, с ржавыми гофрированными жалюзи над витринами «мужского салона», пропахшего вежета-лем, с залатанной черепичной крышей, которую Нечаев в детстве облазил вдоль и поперек. Люди, тесно насе-лявшие весь этот дом, жили легко и весело. Кого там только не было! Греки, молдаване, поляки, цыгане... А в цокольном этаже вместе с болонками обитала даже француженка — престарая мадемуазель Пьеретта Кор-мон, бывшая бонна, работавшая теперь воспитательни-цей в детском садике.

Отец Нечаева в свое время плавал на судах Добро-вольного флота, ходил из Одессы в Геную и на Корси-ку, а потом, женившись, осел в Одессе и стал работать в порту сгивидором. В доме он поддерживал флотский порядок. В простенке между окнами у них висели круг-лые судовые часы в медном корпусе, надраенном до солнечного блеска, а над кушеткой красовалась карти-на «Синопский бой». Когда-то, когда Нечаев был совсем маленьким, у них жил даже попугай, оравший по утрам «Полундр-р-р-а...», но потом опустевшую проволочную клетку поставили на шкаф.

У Нечаевых было две комнаты. Высокие, с лепными потолками и мраморными подоконниками.

После того как отца не стало, в комнатах еще долго пахло крепким трубочным табаком. Кроме матери, к вещам отца никто не смел прикасаться. Однажды, ког-да сестренка Нечаева, Светка, — второпях, не иначе — присела на стул, на котором обычно сидел отец, мать молча поднялась из-за стола и вышла из комнаты, а он, Нечаев, впервые в жизни поднял на Светку руку. И Светка не огрызнулась, промолчала.

Эх, знали бы они, что Нечаев почти рядом! Светка бы сразу сюда прибежала!..

— Нечай, к лейтенанту!.. — крикнул Костя Арабаджи.

Схватив винтовку, Нечаев ринулся к двери.

Гасовский сидел в конце коридора за конторским столом. Он за что-то распекал Якова Белкина, стоявшего перед ним навывтяжку. Тут же переминались с ноги на ногу еще несколько матросов.

— А, мой юный друг... — пропел Гасовский, увидев Нечаева. — Ну, теперь все в сборе. Так вот, товарищи одесситы, даю вам ровно три часа. Для личной жизни. Уложите? Я сегодня добренький. Но если кто опоздает... Предупреждаю, иногда у меня резко меняется характер. Всем ясно?

В городе был введен комендантский час.

Гасовский еще что-то говорил о самовольных отлучках, дезертирстве и трибунале, а Нечаев стоял и думал: «Господи, и чего он тянет? Все ясно...»

Тогда Гасовский, явно наслаждаясь произведенным впечатлением, поднял руку, согнутую в локте, и посмотрел на часы. Потом сказал:

— Идите!..

Сказал, словно выстрелил из стартового пистолета.

И в ту же минуту Нечаев очутился на улице под фиолетово-дымным небом, из глубин которого тянуло жженым кирпичом и гарью. Деревья и кусты в скверике напротив были опалены зноем. Тусклые листочки акаций («Любит — не любит, к сердцу прижмет...») томились в сухой и пыльной духоте. Августовский день шел на убыль.

Неожиданно, за поворотом, перед ним возникло расколотое надвое здание университета. Руины все еще дымились. Наверху к одной из уцелевших стен прикнулись книжные цейсовские шкафы.

Нечаев свернул за угол. На пожарищах копошились люди. Разгребали головешки, ворочали черные



камни... А рядом дворники невозмутимо подметали тротуары.

В витрине образцовой фотографии все еще нарядно улыбались довоенные красавицы, пыжились brave кавалеристы и сучили ножками розовые ползунки.

В нескольких местах улица была перегорожена баррикадами, сложенными из булыжника и мешков с землей. Стучали лопаты. Нечаев остановился: какой-то морячок вел пленного румынского солдата. Морячок был с ноготок, в плащ-накидке до пят поверх куцевого кителька и широких штанин, заправленных в кирзовые сапоги, а румын, шедший впереди, был здоровенный детина в тесном френче с накладными карманами и желтых ботинках.

Позади баррикады работали женщины. Одна из них, мясистая тетка, взобралась на булыжник и, уперев руки в бока, загородила пленному дорогу. Ее телеса распирали нитяную кофту, на носу и подбородке воинственно торчали бородавки.

— И шоб я видела тебя на одной ноге, а ты меня одним глазом! — закричала она в лицо румыну. — Ирод проклятый!..

Голова тетки, покрытая бородавками, была похожа на мину. Румын отпрянул, закрыл руками лицо. Но тетка только плюнула ему под ноги и отвернулась.

И этот пленный в толстых желтых ботинках, и мощные баррикады, и мутные немытые окна домов, и листовки на афишных тумбах — все-все ежеминутно напоминало: враг у порога. Фронт проходил так близко, что война уже вошла в каждое сердце, в каждый дом.

Нечаев понял это, когда очутился в полутемном парадном, где он знал каждое цветное стеклышко. По этим отполированным руками людей дубовым перилам он любил съезжать в детстве. На первом этаже

обычно пахло луком, на втором — жареными бычками, на третьем — ухой. Эти запахи были стойкими, крепкими. Теперь же на всех этажах пахло нежильем — известкой и пылью. Дом был наполовину пуст.

Открыла Нечаеву соседка. «Петрусь!..» — она бросилась ему на шею и долго, вздрагивая, всхлипывала под его рукой.

— Если бы твоя мама знала!..

Он почувствовал, как у него слабеет сердце.

— Где они? — спросил он через силу.

— Уехали. Позавчера еще. Теперь все уезжают. Видишь, я одна во всей квартире осталась. А ты... Что же ты стоишь? Проходи...

Она завела его в свою комнатку, заставленную неуклюжей мебелью, которой хватило бы на три такие комнатки, и Нечаев протиснулся между буфетом и этажеркой к столу.

Стол этот был покрыт не скатертью, как раньше (хозяйка была чистехой), а простой клеенкой. На нем стояли эмалированный чайник и кастрюля с остывшей пшенной кашей.

— Да ты садись. Я тебе все расскажу...

Она смахнула со стола хлебные крошки, достала из буфета банку прошлогоднего вишневого варенья без косточек, которое, как она помнила, он очень любил, положила на плетеную хлебницу свою черствую пайку и, усевшись напротив Нечаева, затараторила о себе, о его матери и сестренке («Такая красавица, ты ее не узнаешь!..»), о жильцах из седьмой квартиры, которые сидят на чемоданах, о воздушных налетах — каждую ночь бомбят, проклятые, — а Нечаев, слушая, машинально ел варенье столовой ложкой. Опоздал!.. Позавчера он бы еще застал своих. Но, когда он подумал о том, что они уже в безопасности, у него отлегло от сердца.

— Я только-только вернулась с дежурства, — сказала соседка. — Так что тебе повезло. Я ведь теперь редко ночую дома. Забегу на часок и опять...

Тут он вспомнил, что она работает на телефонной станции. Оттого, должно быть, и не уехала. Впрочем, зачем ей уезжать? Детей-то у нее нет...

— Правда, что наши не сдадут Одессу?

— Правда, — сказал он.

— И я так думаю. Но твоим я сама посоветовала... Трудно им было. Мать в последние дни не смыкала глаз. Сам знаешь, какое у нее сердце. Мы условились, что, если от тебя письмо придет, я его ей перешлю. В Баку. Там у вас какие-то родственники... Адрес она мне оставила.

Нечаев кивнул. Адрес ему известен.

— А ваши ключи у меня. Возьмешь?

— Зачем? Мне пора... Не знаю, смогу ли еще раз выбраться.

— Может, тебе что-нибудь нужно? Я открою...

Достав из буфетного ящика связку ключей, она вышла в коридор. Нечаев последовал за ней.

Дверь открылась. Соломенные шторы на окнах были опущены, и пришлось зажечь свет.

Ничего не изменилось! На буфете стоял чайный сервиз. Пустая клетка, «Синопский бой», матрешка, салфетки на полочках... Все было на своем месте. Только часы не шли.

На письменном столе отца лежала пыль.

Бронзовый чернильный прибор, старый бювар... Из терракотовой китайской вазочки торчали прокуренные отцовские трубки. Нечаев знал их все. У каждой трубки была своя история. Вот эту, по словам отца, ему подарил какой-то английский капитан... Нечаев повертел ее в руках, а потом сунул в карман. На память. И в последний раз окинул взглядом комнату, как бы

стараясь сохранить ее в памяти навсегда. С шелковым абажуром, с креслом-качалкой, с выгоревшими золотистыми обоями...

— Ох, чуть не забыла, — сказала соседка. — Тебя какой-то моряк спрашивал. С нашивками. Вчера... «Здесь, — говорит, — проживают Нечаевы? Мне нужен Петр, спортсмен...» Ну я ему сказала, что ты в Севастополе.

— Кто бы это мог быть?

— Я его никогда не видела. Обещался тебя разыскать. Ты ему нужен. Постой, кажется, я записала его фамилию. Память у меня... — Она стала рыться в старых открытках и письмах, лежавших в стеклянной вазе, — люди, которые редко получают письма, их всегда берегут. — Вот, нашла... Капитан-лейтенант Мещеряк...

— Мещеряк? — он пожал плечами. — Не знаю такого. — В морском клубе был, кажется, какой-то Мещеряк или Мечеряк...

— Мне его как-то неудобно было расспрашивать. Да и не думала я, что тебя увижу.

Он снова пожал плечами и тут же забыл об этом загадочном капитан-лейтенанте. Он и не предполагал, что пройдет какое-то время и капитан-лейтенант Василий Мещеряк прочно войдет в его жизнь.

Соседка попыталась всучить ему банку варенья, но он наотрез отказался. Некогда будет ему гонять чай на фронте. А ей это варенье еще пригодится. Тогда соседка притянула его голову к себе, поцеловала в лоб и, всхлипнув, оттолкнула.

Он прогрохотал по лестнице.

У него еще было много времени. Зайти к знакомым? Попытаться разыскать прежних друзей? Но все его друзья были в армии. Тогда, быть может, просто побродить по городу? Он ведь так давно не был в Одессе!.. С минуту он постоял в нерешительности, а потом его

потянуло в отряд. Там теперь его дом, его друзья... И так будет до конца войны.

Чего греха таить, он думал тогда, что конец войны уже не за горами. Ему было двадцать лет, и ему казалось, что убить могут кого угодно, но только не его. Тогда он был еще уверен в своем бессмертии.

Отряд выступил утром, на рассвете. Ни тылов, ни обозов — каждый сам себе интендант. Скатка, противогаз, фляга, малая саперная лопатка — все при тебе. У кого винтовка, а у кого и «дегтярь», к которому полагается десять полных дисков. Есть и по три гранаты лимонки на брата, чего еще желать?

— Персональные танкетки вам вручат уже на передовой, — сказал Гасовский.

— Мне бы лучше какое-нибудь оружие в личное пользование, товарищ лейтенант, — в тон ему сказал Костя Арабаджи.

— Надеюсь, командование учтет вашу просьбу, — усмехнулся Гасовский.

Белый щебень дороги вел в степные балки, кустарники и бурьяны. Земля вокруг была старой, сухой, в репьях и трещинах. Над ее окаменевшей рябью плавилось небо, и балки наливались зноем. Во рту у Нечаева было горячо.

Он знал, что море где-то справа, но глаз туда не доставал, а слабый ток воздуха с той стороны не приносил веселого соленого запаха, и Нечаеву, шагавшему по пыльной дороге, с каждой минутой все меньше верилось, что море есть на самом деле и что в эту минуту где-то сияет и рябит его прохладная синева.

Зато тяжелый слитный гул фронта становился все ближе и громче. Отряд шел ему навстречу широким и свободным матросским шагом и до полудня уперся в огненную стену, стоявшую над суходолом.

Там стонало и плавилось железо.

Мы в бушлатах с Черноморья  
Шли, как черный вал.  
Дьяволами после боя  
Нас румын прозвал...  
Как рванешь в атаке ворот,  
Тельник бьет в глаза.  
Словно защищает город  
Моря полоса...

*(Из краснофлотской газеты)*

## **Глава вторая**

### **ШТЫКОМ И ГРАНАТОЙ**

Прошла неделя. Отряд не выходил из боя. Люди обжились, попривыкли к окопному быту с ежедневными атаками, контратаками и ожиданием новых атак, с минометными обстрелами, наглым режущим светом ракет, с шальными пулями, залетавшими бог весть откуда, с котелками упревшей каши, винным довольствием, теплым домашним шорохом мышей в соломе и едким химическим запахом отстрелянных гильз. Их руки и лица огрубели, стали шершавыми, темными, а глаза выели бессонные ночи и дым. Их уже ничем нельзя было удивить.

Сухую землю, усеянную осколками железа и пропитанную кровью, жгло беспощадное солнце.

Но иногда на передовую падала пустая тишина. Тяжелая, неподвижная, она закладывала

уши и камнем ложилась на сердце. Так проходил час, другой... И вдруг тишина взрывалась, небо наполнилось скрежетом, грохотом, стоном и гулом, который низким степным громом катился по жнивью и бурьянам. И тогда за этим громом поднимались цепи солдат в едко-зеленых мундирах.

Первыми обычно шли «шарманщики», поливавшие землю автоматным огнем. За ними, подгоняемые офицерами, вываливались из поредевших, иссеченных пулями зарослей кукурузы обросшие солдаты с винтовками. Позади солдат оглушительно били трубы военных оркестров.

Так начиналось утро.

Степь была рыжей, и небо тоже рыжело, а воздух, жидко струясь над окопами, мутно пламенел. Август был марный, сухой. Солнце стояло высоко, без лучей, без блеска. И дышалось трудно, устало.

Но на Костю Арабаджи жара совсем не действовала.

— Жить можно, — говорил он, перекатывая папиросу из угла в угол запекшегося рта.

— Можно, можно, — вторил ему Сеня-Сенечка.

С ними молча соглашались: жить можно. Вот только воды было в обрез. Росу, которая по утрам стеклянно дрожала на горьких листочках полыни, и то приходилось собирать в котелки. Но много ли насобираешь таким манером? Слышно было, как раненые румыны, оставшиеся лежать на поле боя, постоянно канючили: «Вапа! Вапа!...»

— Воды просят, — объяснил как-то Гасовский.

— А вы и по-ихнему умеете? — удивился Костя Арабаджи.

— А то как же, — усмехнулся Гасовский. — Что же тут особенного? Я, мой юный друг, из города Тирасполя, в театре работал. Ты что, не знал?

— Артистом были?

— Разве не видно?.. — Гасовский приосанился.

— Видно, — поспешил подтвердить Костя Арабаджи. Он знал, что Гасовский до поступления в военно-морское училище некоторое время работал в театре, но был не артистом, а рабочим сцены, который торчит за кулисами. Но он знал также и то, что с Гасовским лучше не связываться. Так отбрееет, что своих не узнаешь. И Костя, который не боялся ни бога, ни черта, задирает лейтенанта не рисковал. Перед Гасовским он пасовал. И даже чуток ему завидовал.

Но завидовал он не его лейтенантскому званию и не тому, что Гасовский не лез за словом в карман — Костя сам был парень не промах, — а тому, что лейтенант и в окопах как-то умудрялся выглядеть щеголем с Приморского бульвара. На кителе — ни травинки, на брюках — складочки. И козырек фуражки все еще не потерял своего бывшего лакированного великолепия. Красив, ничего не скажешь. Артист!.. Под его насмешливым взглядом Костя поспешно опускал глаза, тушевался. «Вы, кажется, изволили что-то заметить, мой юный друг?..» Что на это скажешь?

Но зато когда Гасовского поблизости не было, Костя наверстывал упущенное. Тогда он мог развернуться. Вот и сейчас... Как только Гасовского вызвали на полковой КП, Костя заявил с легким воздушным вздохом:

— Обидно. Я, можно сказать, Одессу-маму и не видел. Где же справедливость, я вас спрашиваю? Одесситу Белкину дали увольнительную, а мне — нет. Лейтенанту даже не пришло в его кудрявую голову, что я интересуюсь достопримечательностями. Я даже путеводитель приобрел.

Он подмигнул Сене-Сенечке, и тот подтвердил:

— Точно.



— Где же справедливость? — Костя повернулся к Якову Белкину. — Нет, ты скажи...

Он, разумеется, понимал, что Гасовский поступил правильно. Но ему хотелось расшевелить Якова Белкина, который сидел, поджав колени к подбородку, и мрачно молчал. Из-под его широченного клеша выглядывали ботинки сорок пятого размера.

Белкин отвернулся.

Но от Кости не так-то просто было отделаться.

— Вот ты одессит, — не унимался Костя. — Ходил, небось, во Дворец моряков, ведь так? Но знаешь ли ты, кто этот шикарный дворец построил, на радость всему человечеству? А я знаю. Архитектор Боффо, вот кто... А сколько ступенек имеет знаменитейшая Потемкинская лестница, ты можешь сказать? То-то...

— Я не считал. Отвяжись...

— Ровно сто девяносто две ступени, шоб я так жил, — торжествующе произнес Костя. — Эх ты, одессит!..

— Одессит, не то что ты. Я на Молдаванке родился, — ответил Белкин.

— А ты, Нечай?

Нечаев вздрогнул. Он думал о другом. Из головы у него не шел рассказ соседки по квартире. Кто он, этот моряк с нашивками, который о нем справлялся? «Петр Нечаев, спортсмен...» Но сам Нечаев не считал себя спортсменом. Ну какой из него чемпион? Плавал как все ребята. Только, быть может, чуточку быстрее. И брассом, и стилем «баттерфляй». Но до мирового рекорда Семена Бойченко ему было далеко. В Севастополе Бойченко обставил его метров на десять. Но этому капитан-лейтенанту нужен был почему-то не просто Нечаев, а Нечаев — спортсмен. Зачем?..

— Я ужасно интересуюсь Старопортофранковской, — сказал Костя. — Нечай, ты знаешь такую улицу?

— Ты бы еще спросил, знаю ли я Лютеранский переулок, Конный рынок или памятник дюку Ришелье, — усмехнулся Нечаев.

— Вот это ответ! — с восхищением сказал Костя. — Ты слышал, Яков? А ты... — И, прежде чем Яков Белкин успел открыть рот, Костя пропел: — «Как на Дерибасовской угол Ришельевской...»

И тут Якова Белкина прорвало. Он заговорил, медленно перетирая слова своими каменными скулами, как жерновами:

— Значит, так. Потопал я сразу домой. На Дальническую...

Белкин смотрел поверх бруствера, словно там, впереди, была его родная Дальническая и он видел ее всю — горбатую, мощенную булыжником, по которому цокают, высекая искры, копыта тяжелых битюгов, и свой дом, и двор с водопроводной колонкой, и деревянную лестницу на второй этаж, и комнаты в блекло-вишневых обоях с бордюром, на котором резвится великое множество шишкинских медвежат. В комнаты можно было попасть только через кухню, а там с утра и до ночи ворочала черные чугуны его мать. «Яшенька! — произнесла она и уронила руки. — Сыночек...»

Она была в стоптанных мужских ботинках и в выцветшей ситцевой кофте, в темной юбке до пят... Она всегда так ходила, только по праздникам на ее опущенных плечах красовалась старая кашемировая шаль. «Яшенька! Сыночек...» Больше она ничего не сказала, и Яков, наклонясь под притолокой, вошел в комнату, служившую его родителям столовой, и увидел отца, который горбился за столом.

— Батя...

В доме все оставалось таким, каким оно было и три, и тридцать лет назад, когда Якова еще не было на свете. Штиблеты отца были густо смазаны смальцем, от

его люстринового пиджака разило табаком. Война? Это еще не причина, чтобы впадать в панику и подниматься с насиженного места.

— Папаша и слышать не схотел за эвакуацию, — продолжал Яков Белкин. — Когда я стал связывать шмутки, он как трахнет кулаком по столу. «Отдай вещи, байстрюк! Чтобы, — кричит, — твоей ноги не было в моем доме. Я еще здесь хозяин!»

Яков замолчал. Пришлось ему развязать оба тюка. Что тут будешь делать?

— С характером у тебя папаша, — уважительно произнес Костя Арабаджи.

— С характером, — подтвердил Яков Белкин. — Насилу его успокоил. «Человек, — говорит, — должен помереть на своей перине. И похоронить его должны возле отца и деда...»

— А мамаша как? — спросил Сеня-Сенечка.

Яков не ответил. Он все еще был далеко, на своей Дальницкой. Срок увольнительной истекал. Разве мать посмеет послушаться отца? Она не проронила ни слова. Она даже не вздохнула, когда Яков уходил из дому.

— А ты тут про Потемкинскую лестницу говоришь, — Яков Белкин посмотрел на Костю Арабаджи. — Для тебя там сто девяносто две ступеньки, а для меня...

Этими словами (других он не искал) Яков Белкин рассказывал о своем посещении отчего дома всякий раз, когда речь заходила об Одессе и Косте Арабаджи удавалось его расшевелить. Ни о чем другом Яков думать не мог.

И Нечаев, слушая его, ловил себя на мысли о том, что ему Одесса тоже дорога не своими достопримечательностями из путеводителя, не Дерибасовской, «Гамбринусом» и кафе Фанкони, о которых постоянно спрашивают одесситов, и не бронзовыми позеленевшими от старости львами в городском саду. Она была ему

близка и зимняя, нордовая, и ласково-весенняя, и слякотная, с почерневшими от копоти виадуками, угольными причалами, с открытыми игрушечными вагончиками трамвая, которые знай себе катятся по узкоколейкам Большого фонтана. Разве человек знает, почему он прикипел сердцем к тем камням, на которых не раз расшибался в кровь? Первая любовь пришла к Нечаеву в Севастополе, там он был по-настоящему счастлив, а думал он почему-то только об Одессе, которая лежала за его спиной, хотя там уже не было ни его сестренки, ни его матери.

Одесса была рядом: хлеб на передовую из городских пекарен привозили еще теплым.

— К нему бы еще маслица, — мечтательно произнес Костя Арабаджи. — Или парного молочка. Помню, в детстве...

— Прикажу, чтобы завтра тебе привезли соску, если ты впал в детство, — сказал Гасовский, уплетавший кашу. Обычно лейтенант жаловался на отсутствие аппетита, а тут в пику Косте он тщательно, хлебной корочкой, прошелся по стенкам котелка и, вздохнув, напоследок даже облизал свою алюминиевую ложку. Косте он не давал спуску.

После этого Гасовский закурил.

Было 23 августа. На этот день Антонеску назначил парад войск на Соборной площади. Но Гасовский, разумеется, знать об этом не мог. Он просто чувствовал: «румунешти» что-то затевают. В окопах противника было подозрительно тихо.

Такая тишина пригибает к земле, в нее вслушиваются до звона в ушах. Военное небо было белесым, пустым, и земля по ту сторону тоже казалась пустошью — неподвижная, выжженная земля, всхолмленная до самого горизонта.

И тут ударили чужие минометы. Слитно, оглуши-

тельно. И поле ожило, пришло в движение, и лица близко опалило чужим огнем, и запахло гарью, и каждый удар, который входил в землю, тотчас отдавался в сердце тупым толчком.

Обработав передний край, минометные батареи противника перенесли огонь в глубину, и стена черного, дымного пламени отсекала окопы от второго эшелона, от тылов, от всего мира, оставив людей с глазу на глаз с войной.

На этот раз в атаку пошли королевские гвардейцы. Эти шли не таясь, в полный рост, как в кинофильме «Чапаев». Шли под браваурную музыку — впереди, спотыкаясь, семенили аккордеонисты.

— Мне бы такую гармонь, — вздохнул Сеня-Сенечка, жмурясь от перламутрового блеска.

— Так в чем же дело? — спросил Гасовский, щелчком сбивая с рукава кителя какую-то пылинку. — Не стрелять! Я кому говорю? — он свирепо посмотрел на Сеню-Сенечку, щелкнувшего затвором винтовки.

А гвардейцы шли... Вот они еще ближе. Как красиво и беспечно они идут! С тросточками, с сигаретами в зубах... Если раньше они избегали рукопашной, то теперь явно перли на рожон.

— За мной! — крикнул Гасовский, в два прыжка опередив Нечаева. Он даже не оглянулся. Знал: за ним катится волна бело-голубых тельняшек.

Но гвардейцы не приняли боя. И не побежали. Черт бы их совсем побрал! Они просто плюхнулись на землю, залегли, и тогда из балки, которая шла поперек поля, хищно, урча моторами, выползли тяжелые танки.

Нечаев остановился в растерянности. Как же так? И другие остановились тоже. И кто знает, что бы с ними случилось, если бы Гасовский не крикнул:

— На-за-ад!

Нечаев не помнил, как снова очутился в окопе. Сердцу было жарко и тесно. Выходит, их обманули, выманили из окопов. Он посмотрел на Гасовского. Как же так?

Лицо Гасовского было белым. Он смотрел вперед, и Нечаев, проследив за его взглядом, увидел, что не всем удалось вернуться назад. Тут и там посреди поля мелькали черные бескозырки, и по ним, и по беретам королевских гвардейцев, не разбирая, где свои, а где чужие, длинными пулеметными очередями хлестали танки.

— Та-а-анки!.. — кто-то захлебнулся собственным криком.

— Ну и что? Танков не видел, что ли? — спросил Гасовский, оборачиваясь.

У него самого нервно подергивалась щека, но усилием воли он унял эту противную дрожь и заставил себя стать прежним Гасовским, тем, которого знали в отряде. Насмешливым, беспечным.

Казалось, он не прочь потравить. Но он продолжал следить за танками. Ползут, проклятые... Так просто их не остановить. И тут он увидел, что за танками идет пехота. Только это были уже не королевские гвардейцы. Солдаты, которые шли за танками, были в рогатых касках и серо-зеленых мундирах с высоко, до локтя, закатанными рукавами, в широких, раструбах кверху, сапогах... Автоматы они прижимали к животам.

— А-а, гансики пожаловали, — сказал Гасовский с недоброй усмешкой.

Он положил рядом с собою две гранаты лимонки и длинную РГД. Затем выплюнул недокуренную папиросу.

— Кончай перекур!

Нечаев и Белкин бросились к нему. У них, хвала аллаху, тоже были гранаты.

— Спокойно, мальчики, спокойно, — остудил их Гасовский.

Танков было штук двенадцать. Они расползались веером, урча мощными моторами, выплевывая длинные струи пулеметных очередей, кашляя снарядами.

Но вот перед одним из них словно из-под земли вырос матрос в тельняшке, и Нечаев узнал Костю Арабаджи, которого раньше потерял из виду. На какую-то долю секунды Костя застыл. «Задавит же, черт полосатый!» — с тоской подумал Нечаев. Но Костя уже прыгнул и прыгнул, провалившись под землю, а танк, споткнувшись о что-то невидимое, вздрогнул и окутался дымом. Он еще попробовал приподняться на задних траках, словно для того, чтобы прыгнуть вслед за Костей, но так и застыл. Из него вырвались языки пламени.

— Так, один готов... — констатировал Гасовский. И вдруг радостно крикнул: — Гляди, живой!..

Бескозырка Кости Арабаджи вынырнула из дыма. Костя бежал, размахивая руками, бежал зигзагами, низко пригибаясь к земле, а за ним, угрожающе урча, гнался второй танк, который обошел подбитую машину, ставшую грудой железа. Длинными очередями второй танк старался отрезать Костю от окопов, он гнался за ним, чтобы раздавить его гусеницами.

— За мной! — крикнул Гасовский.

Нечаев вскочил. У него была только одна граната, и он швырнул ее под левую гусеницу, и вдруг увидел, что танк завертелся на месте, стараясь развернуться и отыскать обидчика, чтобы рассчитаться с ним за все, и Нечаев подумал: «Амба!» Он был один перед этим танком, видел только его и чувствовал свое бессилие. Откуда было знать ему, что еще кто-то считает этот танк «своим» и что этот «кто-то» уже швыряет в него грана-

ту за гранатой? А тут еще другие матросы, установив треногу «дегтяря» на бруствере, принялись хлестать короткими очередями по смотровым щелям железного чудовища. Но Нечаев не видел этого. В бою всегда бывают минуты, когда человек остается один.

Но уже в следующее мгновение Нечаев увидел рядом с собой Якова Белкина и скорее почувствовал, чем понял, что спасен, что танк уже мертв, а он, Нечаев, жив, и будет жить всегда, вечно, до тех пор, пока рядом с ним будут Гасовский и Белкин, Сеня-Сенечка и Костя Арабаджи, будут потные, возбужденные люди в бушлатах, фланелевках и грязных тельняшках. И когда он почувствовал это, его глаза стали сухими, и он увидел еще один танк, который подминал под себя землю.

— Утюжит, гад! — крикнул Сеня-Сенечка. — Ложись!

Столкнув Нечаева в окоп, он прыгнул на него и придавил к земле. И в ту же минуту небо над ними потемнело, стало железным и черным, а потом, когда танк перевалился через окоп, опустело, и в этой пустоте прозвучал голос Гасовского:

— Вперед, морячки! Полундра!

Нечаев и Сеня-Сенечка вскочили. Немцы!.. Нечаев размахнулся, опустил приклад на зеленую каску, снова размахнулся и снова ударил. Его тоже ударили чем-то тяжелым, огрели по спине, но он даже не почувствовал боли. Это была тяжкая военная работа. Работа, которую делают молча.

И вдруг раздался дикий вопль:

— Schwarze Teufeln! Teufeln!.. \*

Немцы дрогнули, побежали, стараясь догнать уходящие вспять танки, и Нечаев почувствовал, как что-то

---

\* Черные дьяволы! Дьяволы!.. (нем.).



оборвалось в небе, в земле, на которой он лежал, и в нем самом.

— Нечай! — Костя Арабаджи встряхнул его. — Слышь, Нечай! Это наша четыреста двенадцатая бьет. Что ты, браток? Наша, говорю, батарея бьет. Дает гансам жизни!

Голос Кости с трудом пробился к нему издалека, из той жизни, которая была полна звуков. Нечаев ошале-ло тарачил глаза. И вдруг почувствовал, как из ушей словно бы повылетали затычки, и снова услышал все то, что казалось ему беззвучным. Для него опять зашумел ветер войны, залепетала трава. Но все эти звуки заглушал один, басовый. Это били из Чебанки тяжелые 180-миллиметровые орудия береговой артиллерии. Били по уходящим танкам, по вражеской пехоте, и в степи то тут, то там вырастали черные деревья разрывов.

Над этой черной рощей, над всем кукурузным полем до самого горизонта лохматился дым.

— Почему замолчали «дегтяри»? — спросил Гасовский.

— Диск меняют, — ответил Костя Арабаджи.

— А второй?

— Ивана убило.

— Давай туда, — приказал Гасовский.

В атаках и контратаках прошло еще несколько дней. А потом пришел приказ отойти. Положение на фронте осложнилось. Боеприпасов было в обрез. Навсегда замолкла и басовая 412-я батарея. Ее пришлось взорвать, чтобы она не досталась врагу. Комендоры простились с ней молча. С опущенными головами ушли они на Крыжановку, прихватив с собой сорокапятки.

Один из них, губастый парень с рукой на перевязи по прозвищу «Кореш», которого вместе с другими быв-

шими комендорами зачислили в их отряд, рассказывал потом Нечаеву и Косте Арабаджи:

— Кто я теперь? Пехота... То ли было у нас на батарее! Железобетон, электричество, библиотека... Поддача из погребов производилась автоматически, как на линкоре, только поспевая заряжать. И такую красавицу пришлось подорвать. Эх!..

Он махнул здоровой рукой и отвернулся, чтобы окончательно не расчувствоваться, и встретился взглядом с подошедшим Гасовским.

— Ладно, хватит тебе разводить сырость, — сказал Гасовский, у которого тоже было муторно на душе. — А мы, думаешь, даром едим фронтовой хлеб? Кого мы только не били! — он принялся считать, загибая непокорные пальцы. — Охотничий полк третьей румынской дивизии — вдребезги, раз. Шестой гвардейский, два. Стрелковый полк «Михаил Витязу», три. А ты говоришь — пехота! Да мы тут, если хочешь знать, все с боевых кораблей. Сами пошли в пехоту, добровольно. Видно, у всех у нас планида такая.

— Истинно, — поддержал Костя Арабаджи. — Не дрейфь, браток. И в пехоте воевать не грех. Ты вот на меня посмотри. Знаешь, кто я такой? Ты «Листригоны» товарища Куприна когда-нибудь читал? Ну так вот, это все про меня было написано, я ведь тоже балаклавский... Потомственный, можно сказать, моряк.

— Так-таки про тебя, — усмехнулся Нечаев. — «Листригоны» когда написаны? Тебя тогда еще на свете не было.

— Ну и что? Тогда мой батя рыбачил. И дед. А посему это все мое, — он широко повел рукой. — Земля, лиманы, море... И что про них написано, то, стало быть, и про меня. Уразумел?

— С нами не пропадешь, браток, — сказал бывшему комендору Сеня-Сенечка.

— Слышал? — спросил Костя Арабаджи. — Золотые слова. Не пожалеешь...

Он слегка шепелявил — в рукопашной ему выбили передний зуб — и говорил мягко, как настоящий одессит: «слюшай», «рюка», «шюба»... И картинно сплевывал в сторону. Коль скоро их отвели на отдых, то он, Костя Арабаджи, имеет законное право делать и говорить все, что ему заблагорассудится.

Было жарко. Нечаев сгреб руками охапку сена и понес ее под навес. Там в затишье на лемехе ржавого плуга сидел тощий петух. На земле валялись старые грабли. Вскоре туда же перебрался и Гасовский, решивший побриться перед осколком зеркала.

Хоть бы какая книжонка нашлась! А может, написать письмо? Но письма не приходили, и писать было незачем.

— Ты чего заскучал? — спросил Гасовский, скосив глаза. — Потерпи, скоро обед привезут, я уже за ним послал,

...Позор такой армии, которая вчетверо, впятеро превосходит противника по численности, превосходит его вооружением, сплоченностью, организованностью, качеством командования, победоносностью и вместе с тем сдерживалась на одном месте небольшими... советскими частями.

Прошу разъяснить частям, что, действуя таким образом, они покрывают себя позором вместо того, чтобы овеять себя славой. В силу беспечности мы имеем относительно большие потери офицеров...

*(Из приказа Антонеску  
4-й румынской армии)*

## **Глава третья**

### **ЧЕРЕЗ ФРОНТ**

Только на штабных картах, утыканных разноцветными флажками, линия фронта четко обозначена синими и красными линиями. На самом же деле фронт пунктирен, прерывист, и то пропадает в непролазной чаще лесов, то теряется в болотном кочкарнике, над которым роятся комары, то, словно невод, тонет в глубоких озерах и реках. Поэтому бывалым солдатам ничего не стоит перейти через так называемую линию фронта.

Нечаев довольно скоро получил возможность убедиться в этом.

С легкой руки лейтенанта Гасовского все они неожиданно для себя стали разведчиками. В мирное время люди редко меняют профессию. Токарь остается токарем, а тракторист трактористом, если, разумеется, любит свое дело. А на войне не так. Недаром говорится: «Война научит...»

Короче говоря, они превратились в полковых разведчиков, и это рискованное дело стало для них привычным, будничным, словно все они были для него рождены.

Но именно потому, что они стали разведчиками, им теперь приходилось воевать уже не столько днем, сколько ночью. «Дело это темное», — как сказал однажды Костя Арабаджи.

Все началось в тот душный августовский вечер, когда звезды были низкими и спелыми, как вишни, — казалось, достаточно протянуть руку, чтобы сорвать их, а темнота бархатно-мягкой. Стоя навытяжку перед командиром полка, который пришел к ним, Гасовский тогда мечтательно произнес:

— Нам бы парочку пулеметов!..

— Еще чего захотел, — хмуро ответил полковник. — И не проси. Нет у меня для тебя пулеметов. Нету!..

— А я не прошу... — Гасовский даже обиделся. Он тоже с понятием. — Есть пулеметы.

— Где?

— У них, — Гасовский кивнул в темноту.

— Это другое дело, — полковник сразу оживился, подобрел. — Если ты считаешь, что у них есть лишние пулеметы, то... — он хитро прищурился. — Но мне почему-то кажется, что они свои пулеметы тебе добровольно не отдадут. Прежде чем отправиться за ними, стоит провести подготовочку. Сначала разведать надо.

— Ясно! — Гасовский красивым движением поднес

руку к лакированному козырьку фуражки и резко опустил ее. — Разрешите действовать?

Его никто не тянул за язык. Но теперь отступать было поздно. И он уединился, чтобы обмозговать предстоящую операцию. Кто согласен с ним пойти? На добровольных началах. Неволить он никого не будет.

— Лейтенант... — Костя Арабаджи покачал головой. — Нехорошо получается.

— Вижу, вижу... — Гасовский усмехнулся. — Итак, все согласны? В таком случае...

Луны, к счастью, не было. Над румынскими окопами изредка взмывали ракеты и, отяжелев, заваливались в темноту. Осыпаясь, сухо шуршала земля. Ползти приходилось медленно, осторожно, задерживая дыхание. Их было пятеро: Гасовский, Белкин, Сеня-Сенечка, Костя Арабаджи и он, Нечаев. Они могли рассчитывать только на себя.

По прямой до румынских окопов было метров шестьсот — за три минуты добежать можно, а ползти пришлось больше часа. И еще столько же времени ушло на то, чтобы вдоль проволочных заграждений добраться до отдельно стоящего дерева, которое виднелось слева. По словам наблюдателей, именно оттуда, из кустарника, румынские пулеметы вели кинжальный огонь.

Но в тот раз им не повезло.

Нечего было и думать о том, чтобы преодолеть проволочные заграждения без ножниц. К тому же румыны бодрствовали. В одном из окопов играл патефон, и, судя по всему, ходили по кругу солдатские фляги. Солдаты, должно быть, справляли какой-то праздник.

Хриплый патефонный голос лихо, с придыханием, выкрикивал: «Эх, Марусичка, моя ты куколка...» И потому, что это была русская песня, на которую румыны, казалось, не обращали внимания — были слышны громкие голоса и смех, — сердцу становилось больно.

А солдатскому веселью не было видно конца. И Гасовский, приподнявшись на локте, взмахнул фуражкой: «Давай назад!..» Когда же Костя Арабаджи вытащил гранату, лейтенант на него зашипел: «Ты что? Всю кашу испортишь».

Гасовский ни на минуту не забывал о том, что завтра им придется наведаться сюда еще раз. Он и в мирной жизни готовил себя к войне (иначе он не поступил бы в училище), и, когда война началась, это не обескуражило его. Воевать надо! Бить врага и днем и ночью. Так, очевидно, было у него на роду написано. Одни были рождены для того, чтобы «сделать сказку былью», а другие для того, чтобы воевать.

Но воевать надо было с умом.

Не беда, что они возвращаются не солоно хлебавши. Метров через двести Гасовский скатился в снарядную воронку и перевел дух. Ничего, визит придется повторить, только и всего. Быть может, даже завтра.

— Зашмеют хлопцы... — прошепелявил Костя Арабаджи.

— Ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним, — парировал Гасовский. — Смеяться надо тоже уметь, мой юный друг.

Еще через ночь им наконец улыбнулась фортуна. Ничейную землю они преодолели без приключений. Местность была знакома, все отрепетировано... Перевернувшись на спину, Нечаев зашелкал ножницами. В проход, извиваясь, поползли Костя Арабаджи и Сеня-Сенечка, не отстававший от него ни на шаг, а позади сошел Яков Белкин.

Патефон уже не играл. Солдаты спали. Часовой сидел на патронном ящике и, стараясь разогнать сон, что-то бормотал под нос. Когда Костя Арабаджи прыгнул ему на спину, тот только вскрикнул и захрипел.

— Давай! — Гасовский метнулся в темноту. — Быстрее...

Пулеметы торчали над бруствером. Возле них никого не было. Нечаев схватил пулемет и поволок его по земле. Оглянувшись, он увидел, что Сеня-Сенечка возится со вторым пулеметом.

— Тяжелый...

— Яков, помоги ребенку, — шепотом сказал Гасовский.

И тут из окопа высунулась чья-то голова. И оцепенела. Румын смотрел на Гасовского. Опомившись, он потянулся к пистолету. Но выстрелить не успел. Прежде чем он поднял руку с пистолетом, Яков Белкин обрушил на него свой пудовый кулак.

Все это произошло в одно мгновение.

— Этого прихватим с собой, — Гасовский жарко задышал в лицо Белкину. — Давай, я прикрою отход.

Сняв ремень, Белкин стянул румыну ноги. Носовых платков у Белкина отродясь не было, и он засунул пленному в рот свою бескозырку. Невелика птица, потерпит. А цацкаться с ним нечего. Белкин взвалил пленного себе на плечи.

Обратный путь они проделали вдвое быстрее. Он показался им коротким.

Когда они очутились в своем окопе, Гасовский тихо рассмеялся.

— Вот и все. Вы что-то хотели сказать, мой юный друг?.. — Лейтенант ласково уставился на пленного. — Два пулемета да еще пленный в придачу. Это вам, друзья мои, не фунт изюму, а целый пуд.

Пленный, которого Белкин бережно положил на землю, тихонько замычал.

— Ого... Братцы! — Лейтенант выпрямился. — А вы знаете, кого приволокли? Да это же господин офицер. Ай-яй... — Гасовский повернулся к Белкину и покачал



головой. — Нехорошо, Яков. Господа не любят такого обхождения. С ними надо вежливо, остороженько... И где ты воспитывался?

— Так я же легонько...

— Ты, стало быть, больше не будешь? — Гасовский рассмеялся. — Слышали, братцы? Яков дает честное пионерское. Простим его на этот раз, а?

Пленный, казалось, силился что-то сказать.

— Хорошо, послушаем... — произнес Гасовский. — Яков, помоги своему крестнику.

Белкин наклонился над пленным и вытащил у него изо рта бескозырку.

— Вот чертяка! Кусается... — Белкин встряхнул кистью.

— Пусть, пусть кусается, — почти умильно произнес Гасовский. — Ах, попалась, птичка. Стой! Не уйдешь из клетки... — почти пропел он забытые слова детской песенки.

— Что с ним делать будем, лейтенант? — спросил Костя Арабаджи, который не разделял этого восторга. На пленного он смотрел тяжело, с ненавистью. Не этот ли офицерик вышиб ему передний зуб?..

Совсем рассвело, когда они доели кашу, которую старшина приберег для них.

— Пойду доложусь, — сказал Гасовский. — Как начальство скажет...

Гасовский поднялся, притушил носком ботинка окур, одернул китель. Он был свеженький как огурчик. Подозвав Нечаева, он отвел его в сторону и велел разобрать один из трофейных пулеметов.

— Спрячь его подальше, — сказал Гасовский. — Иначе его у нас отберут. Скажут: зачем вам два? Слишком жирно.

— А зачем ему лежать без дела? — спросил Нечаев.

— Ты, я вижу, добренький... — певуче произнес Га-

совский. — Я не собираюсь таскать каштаны из огня для других, понял? Вот так-то, мой юный друг. Полковник что сказал? «Добудете — ваши будут». Ты что, не слышал?

Нечаев промолчал. Приказы не обсуждакт. Даже такие, которые тебе не по душе.

— Так-то будет лучше.... — сказал Гасовский. — Этот пулеметик нам еще пригодится. Чует мое сердце.

С батальонного НП Гасовский вернулся через час. Фуражка как-то особенно лихо сидела на его голове.

— Ну, братцы, дела-делишки... — сказал он. — Я только что говорил с «Кортиком». Во-первых, благодарит от лица службы. Во-вторых, приказал лично доставить пленного в штаб. Костя, Нечай... Пойдете со мной. Есть вопросы? Предложения? В таком случае принято единогласно.

— Охота была... — пробормотал Костя Арабаджи. Ему совсем не улыбалось топать в штаб. Сейчас бы завалиться! — Пусть Белкин идет, это его трофей.

— Отставить разговорчики! Машину за нами уже выслали, — сказал Гасовский.

— Машину? — Костя встрепенулся, расправил плечи. — Тогда другое дело.

— Вот так-то, мой юный друг, — усмехнулся Гасовский. — За нами уже машины посылают. Яков, а как твой крестник?

— Лежит...

Румын люто ворочал глазами, и, когда Гасовский подошел к нему, разразился отборной бранью. Но Гасовский прикрикнул на него по-румынски, и пленный, смирившись со своим положением, дал себя уложить на полуторку и повернуть лицом вниз.

Штаб полка помещался в чистой мазанке на краю села. Окна мазанки были занавешены солдатскими одеялами, на столе чадила керосиновая лампа. Видимо,

там бодрствовали всю ночь и не заметили, что настало утро.

Из-за пестрой ситцевой занавески появился полковник и без интереса, скорее по необходимости посмотрел на пленного. Что может сказать ему этот испуганный офицерик, который едва держится на ногах?

— Придется подождать переводчика.

— Разрешите мне... — Гасовский шагнул к столу.

— Вот как! Ну что ж, давай переводи, — согласился полковник. И отрывисто спросил: — Фамилия, звание...

Гасовский быстро перевел и, выслушав ответ пленного, отчеканил:

— Никулеску Михайл... Двадцать четыре года... Сублокотинент \*. Кавалер ордена «Румынская корона».

Как только Гасовский произнес его имя и звание, пленный гордо вскинул небритый подбородок.

— Кавалер? — переспросил полковник и трахнул кулаком по столешнице. — Стоять смир-рна!

Пленный вздрогнул.

— Пусть рассказывает, — устало произнес полковник, потирая виски. — Только все...

Лицо пленного залоснилось. Он заговорил быстро, торопливо. Гасовский едва поспевал переводить.

— Он говорит, что их полк участвует в боях с самого начала войны... Он говорит, что на этот участок фронта они прибыли двадцать пятого. Перед выступлением на фронт полк был переукомплектован. Прибыло пополнение. Но он говорит, что полностью восполнить потери, которые они понесли в районе Петерсталя, так и не удалось... Были уничтожены целые роты. Во втором батальоне осталось восемьдесят человек. Майор Маринеску застрелился. Он говорит, что и сейчас у офи-

---

\* Сублокотинент — младший лейтенант (румын.).

церов препаршивое настроение. Они уже потеряли надежду, что Одесса будет ими когда-нибудь взята!..

— А он у тебя болтливый, — сказал полковник. — Переведи ему, что если он думает втереть нам очки...

Гасовский перевел.

— Божится, что говорит правду. Готов присягнуть... Спрашивает, что ему будет...

— В живых останется, можешь его обрадовать. Для него война кончилась. Кстати, кто там у них командует армией?

— Корпусной генерал-адъютант Якобич, — Гасовский перевел ответ пленного.

— Ладно, хватит. Можешь его увести, — полковник устало махнул рукой.

Несколько ночей они ползали по передовой, засекая огневые точки противника, присматриваясь и прислушиваясь к тому, что творится во вражеских окопах. Нечаев, правда, ничего не понимал, ни единого слова, но зато Гасовский не терял времени даром. Он слушал внимательно, впитывал в себя чужие слова, обрывки фраз... О чем говорят солдаты, когда отдыхают? Известно о чем. О доме, об урожае, о детях... А потом тихо ругают промеж себя какого-то сержант-мажора и шепотом, поминутно озираясь, поносят командира роты... А Гасовскому только это и надо.

Он подползал к румынским окопам совсем близко, и, когда кто-нибудь говорил ему «Смотри, доиграешься...», беспечно пожимал высокими плечами. Нечего учить его уму-разуму. Что, рискованно? Но на войне, мой юный друг, иначе нельзя. Кашевара, который передовой и не нюхал, и то, говорят, убило вчера во время бомбежки. Так что дело не в этом. «Была бы только ночка, да ночка потемней», — как поется в песне.

В одну из таких темных ночей, когда они, вдоволь наслушавшись чужих разговоров, собирались отползти от вражеских окопов, Гасовскому попалась на глаза жухлая газета, в которую был завернут солдатский ботинок. «Тоже мне трофей!» — Костя Арабаджи пнул его ногой. Но Гасовский быстро нагнулся и, вытряхнув из газеты ботинок, разгладил ее и спрятал, чтобы посмотреть на досуге. И надо же было случиться, чтобы именно в этой газете оказался датированный еще 19 августа декрет самого Антонеску об установлении румынской администрации на временно оккупированной территории между Днестром и Бугом.

Утром, развернув газету, Гасовский прочел:

«Мы, генерал Ион Антонеску, верховный главнокомандующий армией, постановляем...»

Декрет генерала состоял из восьми параграфов, которые должны были, очевидно, навечно закрепить на захваченных землях новый порядок.

— Чиновники, назначенные на работу в Транснистрию, — медленно перевел Гасовский, — будут получать двойное жалованье в леях и в марках...

— Транснистрия? А это что за страна такая? — спросил Костя Арабаджи. — В первый раз слышу...

— Ты, мой юный друг, стоишь на ней обеими ногами, — сказал Гасовский. И повернулся к Нечаеву, вычерчивавшему кроки. — У тебя все готово?

— Почти.

Цветные овалы и полукружия густо лежали на толстой чертежной бумаге. Окопы, огневые точки, пулеметные гнезда... Нечаев приложил к бумаге линейку и провел карандашом жирную черту.

— А у тебя, Нечай, получается... Вполне художественная картинка, — сказал Гасовский и выпрямился. — Ребятки, я забыл предупредить. Наведите торже-

ственный глянец. Батя просил, чтобы мы все явились. «Приведи, — говорит, — своих чертей...»

Батей и Хозяином в полку называли командира.

— Всех? — удивился Костя Арабаджи. — А на какой предмет?

— Полагаю, что тебя лично он наградить хочет, — ответил Гасовский. — Тебе медаль или орден?

— Лучше орден, — Костя вздохнул и зажмурился, как бы ослепленный лучами Красной Звезды, которая возникла перед его глазами. Ему бы такую звездочку!.. Красную, чтобы носить ее на малиновой суконке... Он представил себе, как разгуливает с орденом на флаanelевке по Примбулю, как на него с интересом заглядываются девчата, и снова вздохнул, понимая, что этой мечте не так-то просто сбыться. Он, Костя, не был так наивен, чтобы предполагать, будто сам Михаил Иванович Калинин знает в Кремле о его подвигах. Да и то сказать, какие же это подвиги? Ну, подбил танк... Ну, ходил в разведку... Другие воюют не хуже.

— Даю двадцать минут, — сказал Гасовский. — Стрижка, брижка, то да се.

Сам он был чисто, до сизости выбрит, и его ботинки сияли.

Белая от пыли полуторка, с расшатанными бортами стояла в ложбине. Усевшись рядом с шофером, Гасовский щелкнул крышкой портсигара и, не глядя, бросил папиросу в рот. Планшетку он держал на коленях.

Мотор полуторки фыркал. В радиаторе булькала и хлюпала вода. Когда полуторка выбралась на большак, шофер дал газ, и плоская степь завертелась под колесами.

Поначалу дорога была пуста. Но вот показался один встречный грузовичок, потом второй, третий... Они мчали друг за другом.

— Пополнение прибыло, — сказал шофер. — Из Сестополя.

Шоферы, как известно, узнают все первыми: на грузовиках, которые неслись навстречу, сидели моряки в касках. В каждой кабине рядом с водителем виднелось курносое личико в синем берете.

Гасовский расправил плечи, приосанился. За те дни, которые он провел на передовой, из его памяти как-то выветрилось, что на свете не перевелись девушки. Он и думать о них забыл. Но стоило ему увидеть первое курносое личико, как его снова «повело», словно он очутился на Приморском бульваре.

— Привет, сестричка!.. — крикнул он, высунувшись из кабины, какой-то черноглазой девчонке. — На чем прибыли?

— Здравствуй, братик. На «Ташкенте», — послышалось в ответ, и, прежде чем Гасовский нашелся что сказать, встречная машина пропала в облаке пыли.

Дорога снова опустела и мягко ложилась под колеса полуторки.

— Везет же людям, — с мягким вздохом сказал Гасовскому шофер. — Приятно, когда рядом с тобой такая... Женщины, они как-то облагораживают.

— Это ты правильно заметил, — сказал Гасовский. — С ними как-то веселее.

И умолк. Ему захотелось снова увидеть ту, черноглазую, и он тут же дал себе слово, что постарается ее разыскать, где бы она ни была.

От этой мысли он стал почему-то серьезным и до самого штаба уже не проронил ни слова.

Когда полуторка остановилась возле мазанки, Гасовский легко спрыгнул на землю и подмигнул молоденькому вестовому, чтобы тот доложил Бате о прибытии разведчиков. Было ровно двенадцать.

Вестовой подкрутил светлые усики, казавшиеся

приклеенными, и, нагнувшись к Гасовскому, доверительно сообщил, что Батя сегодня настроен миролюбиво. Паренек благоволил к Гасовскому.

Выслушав эту ценную информацию, Гасовский кивнул.

— За мной не пропадет, — сказал он, зная, что вестовой мечтает о трофейном парабеллуме.

Вестовой скрылся в дверях, чтобы через минуту снова появиться на крыльце и кивнуть Гасовскому, что можно войти. Он даже распахнул перед ними двери.

Полковник сидел не за столом, а на кровати, застланной цветастым крестьянским рядном. Лицо у него было доброе, заспанное.

— Что новенького, лейтенант? — спросил он, потягиваясь. — Все живы-здоровы?

— Все, — ответил Гасовский. — Явились по вашему приказанию.

— Так-так... — Полковник поднялся с кровати и застегнул китель. — Пусть войдут.

В просторной избе сразу стало тесно и жарко. Нечаев остановился у двери.

— Садитесь, в ногах правды нет, — сказал полковник. — Должно, умаялись?

Вдоль стены тянулась длинная деревянная лавка. Нечаев, Белкин, Костя Арабаджи и Сеня-Сенечка уселись рядышком. Только Гасовский продолжал стоять перед командиром полка.

— Докладывай, лейтенант.

— Есть кое-что новенькое, — Гасовский открыл планшет.

Доложив результаты ночной разведки, он шагнул к столу.

— Вот... — сказал он. — Последний приказ Антонеску. Требуется взять Одессу в течение пяти суток.

— Ишь ты... — сказал полковник.



Водрузив на нос штатские очки в простой оправе, он с минуту вглядывался в бумагу, которую передал ему Гасовский, а потом, зевнув, взял карандаш и размашисто написал на приказе румынского генерала: «Попробуй!..»

— Вот, возьми, — сказал он, возвращая бумагу Гасовскому. — Вернешь ему при случае.

И сразу стал серьезным, жестким. И Гасовский понял: настоящий разговор только начинается.

— У меня к вам личная просьба, разведчики, — сказал полковник, поднимаясь из-за стола.

На этот раз он не приказывал, а просил. И оттого, что он по-отечески просил его выручить, тем самым признаваясь, что ему тоже несладко, все вскочили, вытянув руки по швам.

Полковник подошел к карте, висевшей в широком простенке между окнами.

— Буду с вами откровенен, — сказал он. — Положение на фронте в последние дни изменилось к худшему. В районе Гильдендорфа противник рвался к станции Сортировочная. На других участках были отмечены ночные атаки. А тут еще самолеты... Вот уже который день они сбрасывают на город сотни зажигательных бомб. Поэтому начались пожары. В Романовке, на Молдаванке...

Когда полковник назвал Молдаванку, Нечаев иска-глянул на Белкина. У того побледнели скулы.

До сих пор Нечаев и его друзья знали только то, что делается на их участке фронта. Что они видели перед собой? Несколько километров пыльной степи, изрезанной окопами и ходами сообщения... Казалось, будто на этих километрах и разворачивается главное сражение. А сейчас они поняли, как огромна война.

— Мы, как видите, вынуждены были отойти на несколько километров, — продолжал между тем полков-

ник. — Вот здесь... — он описал рукой полукруг. — Между Большим Аджалыкским и Аджалыкским лиманами. И румыны сразу же воспользовались этим. Они подвезли и установили в этом районе тяжелую батарею, — он ткнул пальцем в карту. — Где-то здесь стоит, проклятая. Она, понимаете, обстреливает не только город, но и порт. А в порту... Не мне вам говорить. Там сейчас столько кораблей! Порт имеет для нас жизненно важное значение. Ведь подкрепление идет только с моря. Вся наша надежда — на корабли. А румыны лупят по кораблям. Пробовали ставить дымовые завесы — не помогает. Мачты все равно торчат. А противнику других ориентиров и не надо.

Стало слышно, как тикают часы на столе.

— Батарея, как я уже сказал, где-то здесь... — повторил полковник. — К сожалению, мы ничего о ней не знаем. А мне вот так, — он провел рукой по горлу, — надо знать ее расположение. И я очень прошу... Знаю, что это не просто. Но мне эти данные нужны, понимаете? К среде...

Часы тикали все так же медленно.

— Понятно, — ответил за всех Гасовский и оглянулся на ребят, стоявших за его спиной.

— На вас вся надежда, — полковник подошел к Гасовскому почти вплотную. — Получив эти данные, мы найдем способ заставить батарею замолчать. Навсегда. А теперь идите отдыхайте... — Он махнул рукой, давая понять, что сказал все.

Они повернулись к двери, в которой появился вестовой.

— Ну что там еще? — недовольно спросил полковник.

— Писатели приехали, — подобравшись, ответил вестовой. — Вы им вчера назначили...

— Хорошо, сейчас выйду, — кивнул полковник и надел фуражку. — Пошли, разведчики...

У крыльца толпились какие-то люди со «шпалами» в петлицах. Стараясь казаться веселым, полковник улыбнулся им и, щурясь от яркого солнца, сказал:

— Что, на трамвае приехали? В Мадриде тоже приходилось ездить на фронт на трамваях. Милости прошу к нашему берегу. Но должен предупредить, что могу уделить вам не больше тридцати-сорока минут. Устраивает? Тогда договорились...

Гасовский незаметно дал знать своим ребятам, что им здесь делать нечего. Этим писакам только попадись на глаза... Нет уж, береженого и бог бережет.

Все угнетены: нас уничтожают... Враг прекрасно организован, встречает нас дождем пуль. Я никогда ничего подобного не видел. Кто этого не видел, тот не может понять, что это такое... После контратаки в нашем батальоне осталось всего 120 человек.

*(Из дневника румынского офицера, убитого на подступах к Одессе)*

## **Глава четвертая**

### **СОЛЕННЫЕ ЛИМАНЫ**

Вода была теплая, с каким-то металлическим привкусом. На этот раз старшина-скопидом расщедрился: «Пейте от пуза, приказано удовлетворить...» И они пили прямо из ведра, передавая его друг другу, а старшина стоял рядом и притворялся, будто не видит, как драгоценная влага течет у них по щекам, льется за воротники... Когда ведро опустело, старшина с тяжелым вздохом снова наполнил его до краев и передал Косте Арабаджи. В глазах старшины, немолодого человека с лицом, изборожденным длинными вертикальными морщинами, была обида.

Тем не менее, когда и второе ведро опустело, а Костя Арабаджи утерся рукавом фланелевки, старшина самолично, прямо из

бочки, налил ему полную флягу и заткнул ее пробкой. Точно так же он наполнил и остальные фляги, которые ему подставили. Берите, запасайтесь впрок. И помните его доброту.

Потом, покончив с этим делом, старшина выдал каждому сахар по норме, галеты и полный боекомплект. Каждый кусочек сахара, каждую галету он, казалось, отрывал от собственного сердца.

— Давай, давай. Не скупись, — сказал ему Костя Арабаджи, — Надо же снисхождение иметь. Не на прогулку собираемся.

Патронами набили карманы. Гранаты и ножи подцепили к широким флотским ремням. Гасовский отстегнул кобуру, болтавшуюся у него почти возле колена, и сунул пистолет за пазуху — так оно вернее. И посмотрел на часы. Куда девалась его насмешливость? Ее как рукой сняло. Теперь Гасовский был сосредоточен и хмур.

Первым делом им предстояло преодолеть минные поля, свое и чужое. Но если в своем вились знакомые тропки-проходы, то на чужом, на котором стояли таблички, предупреждавшие об опасности, мины были натканы так густо, что, проползая между ними, ты не раз обливался холодным потом. Кто скажет, что это за бугорок? С виду простая сурчина, а заденешь ее — и сразу шарахнет так, что костей не соберут.

Сотни противопехотных мин дремали под тонким слоем земли, ожидая своего часа.

Луны не было.

Сердце медленно отсчитывало секунду за секундой, пугаясь каждого шороха и собственного стука.

Гасовский полз впереди — Нечаев видел перед собой подошвы его ботинок и каблуки, подбитые стертymi подковками, которые то и дело взблескивали. Сам он полз на правом боку, подтягивая винтовку. Была дорога каждая секунда.

Около полуночи они добрались до дальних кустарников и почувствовали себя в относительной безопасности. Тут можно было отлежаться и передохнуть.

Они давно привыкли к слитному, не умолкавшему ни на час гулу артиллерийской канонады, к холодному свету ракет, к электрическому треску пулеметов и не обращали на них внимания. Они научились в грохоте войны безошибочно отыскивать те непривычные для уха слабые звуки, которые таили в себе главную опасность. Сейчас какой-нибудь странный шорох был страшнее громкой артиллерийской пальбы. Но больше всего они были озабочены тем, чтобы ненароком не напороться на румынских часовых.

За первой линией вражеских окопов тянулась еще и вторая. Поле между ними было изрыто ходами сообщения, и чужие голоса раздавались порой совсем близко, то справа, то слева, то впереди, и хотелось стать невидимым, не дышать, уйти на время в небытие, чтобы потом очутиться подальше от передовой, там, где лиманы, и плавни, и чистая степь, и пустое небо, под которым можно стоять не таясь, в полный рост и дышать широко, свободно.

Прислушиваясь к чужим голосам, Нечаев впервые подумал о том, что в окопах царило уныние; ни веселых голосов, ни смеха слышно не было. Это были усталые, неряшливые солдаты, которым военная служба в тягость, ошалевшие от грохота и воя, разуверившиеся в победе. На их небритых лицах была темная тупая покорность судьбе. Они уже примирились с безысходностью, с тем, что почти каждого ждет пуля или шальной осколок, а потом и деревянный крест на чужой земле. О чем они теперь мечтали? О легком ранении? Об отпуске?..

Нечаев лежал, уткнувшись в землю, которая душно зноила, отдавая ночи лишек дневного жара, и думал о том румынском солдате, который был рядом. Кто он?

С виду — немолодой уже человек, бадя\*, страдавший бессонницей. И этот кряхтящий бадя был теперь его, Нечаева, заклятым врагом. Так случилось... А все потому, что на этом хлеборобе были сейчас не ицары — толстые домотканые брюки, — а казенное солдатское белье. Еще когда Нечаев был пионером, им говорили, что когда-нибудь настанет время и люди потопят в океанах все винтовки, пистолеты и орудия. Но теперь... занятый этими мыслями, Нечаев не заметил, как румын поднялся и пошел к окопу, окликнув кого-то из своих. После этого снова стало тихо, и Гасовский, лежавший рядом, подал знак: «Давай не задерживайся!» В отличие от Нечаева Гасовский думал только о выполнении боевого задания.

Они отползли в сторону.

Каждый метр земли давался им с трудом. Только когда передовая осталась далеко позади, когда голоса солдат и шумы войны смолкли, они рискнули подняться с земли. Короткими перебежками они добрались до заброшенного баштана, обогнули сгоревшую хатенку, возле которой стояла арба с поломанной оглоблей, и подались к деревьям, темневшим возле дороги. Тут их окликнули, и они остановились, затаили дыхание, вжимая пальцы в военный металл, но Гасовский быстро нашелся, ответил по-румынски какой-то соленой пословицей, в ответ раздался смех, и они, сдерживая дрожь в коленях, спокойно, на виду у румын, сидевших на армейских фурах с провиантом и фуражом, повернули прочь от дороги, чтобы попытаться перейти ее в другом месте. В темноте румынские ездовые приняли их за своих.

Теперь уже пахло не только степью — одичавшей черствой землей, пылью и чабрецом, — все сильнее пах-

---

\* Б а д я — обращение к старшему (румын.).

ло соленой водой. Угадывалась близость Большого Аджалыкского лимана.

Дорога шла наизволок, и тарахтящие фуры как бы скатились с нее в темноту. Сквозь листву деревьев проглядывали редкие, по-осеннему стылые звезды. Посмотрев на часы, Гасовский заволновался. Надо было попытаться поскорее оседлать дорогу.

— Приготовить гранаты, — сказал он шепотом.

В два прыжка перемахнув через дорогу, он плюхнулся в кювет. Остальные — за ним. Было ветрено. Ночь вот-вот могла оторваться от земли, поредеть. Уже было слышно, как где-то далеко, под Кубанкой, твякают псы. А до лимана было все еще далеко.

— Черт, скоро совсем развиднеется, — сказал Костя Арабаджи. — Что делать будем, лейтенант?

— Надо добраться до лимана, — сказал Нечаев, которому эти места были знакомы. — Пересидим в камышах.

— А если не успеем?

— Должны успеть, — сказал Гасовский.

Из окаменевшей глины кое-где пробивалась твердая травка. Росла она по склонам балочки. На дне балочки тянулась наезженная колея.

Спустившись в балочку, они пошли вдоль колеи, которая снова вывела их в степь к заброшенной хате, стоявшей посреди двора, обнесенного толстой стеной. Двор был пуст — ворота, сорванные с петель, валялись под дикой грушей. Но в хате могли быть люди.

Гасовский кивнул Нечаеву, и тот метнулся к ограде, прижался к ней, а потом крадучись направился к воротам. Сеня-Сенечка двигался ему навстречу. Потом они юркнули во двор.

— Подожди меня здесь... — шепнул Сеня-Сенечка.

Он осторожно нажал на скобу, и дверь подалась. Нечаев вскинул винтовку.



Прошло несколько минут. В хате чиркнула спичка. И опять стало темно. Потом послышался шорох.

— Ну как?

— Никого... — Сеня-Сенечка появился в проеме двери. — Но тут кто-то был. Недавно. На столе грязные миски стоят. И вот, — он протянул Нечаеву хлебную горбушку. — Еще мягкая.

— Думаешь, румыны?

— А кто ж еще? Хозяева так не загадят. — Он поднял голову. — Хорошо бы на крышу забраться.

— Тебя подсадить?

— Ничего, я сам. Ты позови наших.

Нечаев тихо свистнул, и в ответ послышался такой же тихий свист.

— В хате никого, — сказал Нечаев Гасовскому. — На столе посуда, окурки...

— А где Семен?

— На крыше.

Они подождали, пока Сеня-Сенечка спрыгнет на землю.

— До лимана совсем близко, — сказал он, отряхиваясь. — Километра четыре.

Четыре километра! Гасовский вытащил пистолет. Надо было спешить.

— А может, останемся, лейтенант? Пересидим в хате, — сказал Костя Арабаджи.

— Нельзя, дорога близко, — ответил Гасовский. — Румыны опять могут наведаться.

Он не хотел рисковать.

Рассвет они встретили в камышах, по грудь в мутной тепловатой водице. Над камышами стлался туман. Пахло гнилью. А когда туман оторвался от воды, стало припекать и появились комары.

Дорога и теперь была почти рядом. Та самая дорога, которую они пересекли ночью. С рассветом она ожила. Слышно было, как тарахтят по булыжнику армейские фуры, на которых, по-крестьянски поджав ноги, дремали разомлевшие от жары ездовые. Видно было, как проносятся, поднимая облака пыли, грузовики и мотоциклы. Обгоняя обозы, растянувшиеся на несколько километров, машины пропадали за поворотом и, когда оседала пыль, можно было разглядеть по ту сторону дороги понурые подсолнухи, за которыми далеко, до самого горизонта, лежала пустая степь.

От воды тянуло затхлой сыростью и прелью. Мутная и поначалу теплая, она с каждым часом все сильнее студила тело, бросала в озноб.

Прихлопнув очередного комара, Костя Арабаджи сказал:

— Сорок седьмой...

— А ты не считай, — посоветовал Гасовский. — Все равно собьешься.

При свете дня он стал прежним Гасовским, спокойным и насмешливым. Так ему, очевидно, было легче совладать с самим собой и со своим страхом. Что ж, страх на войне испытывает каждый. Вся разница в том, что одни умеют его обуздать, а другие покоряются ему. Нечаев уже знал это. Сам он тоже подавлял в себе страх. И не раз.

А время, как назло, тащилось медленнее армейских фур, тарахтевших по дороге. После полудня, когда солнце прошло над головой, Нечаева стало клонить в сон. Но тут он увидел, что какой-то тупоносый грузовик, крытый брезентом, остановился на дороге, и сон с него как рукой сняло. Из кабины грузовика вылез солдат с деревянным ведром и рысцой побежал к лиману.

Солдат быстро спустился с насыпи. Он шел, размахивая ведерком. Он был молод и беспечен. Подойдя к

воде, он присел на корточки. Раздался плеск. Деревянное ведро плюхнулось в воду.

До солдата было шагов пятнадцать. Вытащив ведро из воды, он поставил его на камень и снял суконную куртку. Окатив себя водой, он рассмеялся и крикнул своему товарищу, оставшемуся в машине, чтобы тот присоединился к нему. У солдата была волосатая грудь.

Гасовский поднял пистолет и взял солдата на мушку.

А тот, ничего не подозревая, снова нагнулся и зачерпнул воду.

И тут случилось неожиданное. Комары!.. Они налетели на солдата, облепили его мокрую спину. Шлеп, шлеп, шлеп... Солдат начал лупить себя по груди, по плечам. Схватив курточку, он принялся ею размахивать. Но где там! Комары продолжали звенеть. И солдат не выдержал. Подхватив ведро, он побежал, разбрызгивая воду.

Залив воду в радиатор, он вскочил в кабину, и мотор грузовика мощно взревел.

— Ай да комары-комарики, — сказал Гасовский, пряча пистолет под фуражку.

— Вполне сознательные, — подхватил Костя Арабаджи.

— Видишь, а ты их ругал, — Гасовский покачал головой. — Нехорошо.

— Каюсь, — сказал Костя и, вытащив зубами пробку, приложился к фляге. Глотнув, он отвернулся, чтобы фляга не мозолила глаза. Но забыть о ней было выше его сил. Как о ней не думать, когда она под рукой, а во рту снова сухо? Костю не смущало, что вода пахнет сукном. Лишь бы прохладно булькало в горле.

Он так увлекся, что не заметил, как разделался со

своим неприкосновенным запасом. Пусто!.. Растерянно хлопая своими белесыми ресницами, он в сердцах забросил флягу в камыши. На кой она ему теперь? Пусто!..

Солнце прожигало до костей. Чахлые кустики акации, которые росли на берегу, совсем разомлели от зноя и отбрасывали на землю хилые тени.

— Ну а теперь что будешь делать? — спросил Гасовский. — Ты хоть флягу подбери.

— Не знаю.

— Пей... — Сеня-Сенечка протянул Косте свою флягу. — У меня еще полная.

— Тогда я глотну. Разок...

Оторвав флягу от губ, Костя вернул ее Сене-Сенечке и, утеревшись рукавом фланелевки, сказал:

— Сразу полегшало. Интересно, который час?

— Третий, — ответил Гасовский. — Румыны, наверно, обедают.

И точно, дорога была пуста.

Румыны обедали, нежились в холодке, а они должны были сидеть в этой гнилой водице. Гасовский посмотрел на ребят, которые совсем приуныли, и сказал:

— Хотите услышать, как я однажды выручил датского принца? Что, не верите? Слово даю... В нашем театре ставили «Гамлета». Дали третий звонок, и помощник режиссера, помреж по-нашему, выглянул из-за кулис. Ну, зал набит битком, яблоку негде упасть. А Гамлета нет. Не то заболел, не то загулял. Офелия — вся в слезах. Клавдий, король датский, его сам Небесов играл, схватился руками за голову. Скандал на всю Европу! Тогда я подошел к помрежу и сказал: «Можете положиться на меня. Гасовский не подведет. Я эту роль наизусть знаю». И что вы думаете? Пришлось ему меня выпустить. С разрешения режиссера.

Тот даже страшно обрадовался. «Да у него, — говорит, — и внешность подходящая, как я раньше не заметил!» Это у меня, значит. И вот я появляюсь в бархате, при шпаге...

Рассказывая, Гасовский так увлекся, что начал жестикулировать. Изобразил помрежа, страдавшего одышкой, потом гордого актера Небесова и трогательную Офелию... Гасовский то выпячивал нижнюю губу, как Небесов, то тарашил глаза, как помреж, то стыдливо хлопал ресницами, как Офелия.

— Публика два раза вызывала меня на бис, — сказал он.

— А что было потом? — спросил Костя Арабаджи.

— Потом? — Гасовский вздохнул. — На следующий день выздоровел наследный принц. Принцы — они живучие.

Небо было низким, пустым. По нему катился гул далекой артиллерийской канонады. А навстречу этому гулу, к передовой, снова тарахтели по большаку грузовики и обозные фуры.

Наконец солнце ушло в пыль, погасло, и степные дали стали лиловыми. Со стороны моря подул свежак. И хотя по небу все еще прокатывался грозный орудийный гул, теперь — дело шло уже к вечеру — стал слышен хруст камыша.

— Лиман перейдем вброд, — сказал Гасовский.

Наконец совсем стемнело. Комары забесновались пуще прежнего. Гасовский побрел по скользкому дну. Остальные, стараясь не взбудоражить воду, — за ним.

Перейдя лиман, они попали в известковую балочку, разделись и выкрутили клеши и фланелевки.

— Тут мой дед живет, пасечник, — сказал Нечаев. — Совсем близко.

— Тогда веди, — кивнул Гасовский.

До села было еще километров шесть. Нечаев повел друзей в обход, огородами. Хата деда стояла на краю села, на отшибе. Неказистая такая хатенка. Румыны на такую вряд ли позарятся. Солдаты любят, когда в доме хозяйка, которая и обед сготовит, и белье постирает. А с деда какой спрос? В денщики он уже не годится, стар больно.

— А ты не сбился с дороги? — спросил Гасовский. — Мы уже вон сколько отмахали!..

— Я эти места знаю, — ответил Нечаев и, подняв руку, прислушался. Тихо. Только вдалеке темнели деревья, за которыми стояла хатенка.

— Я сам... — тихо сказал Нечаев. — Здесь подождите.

Пригнувшись, он побежал к деревьям, притаился за тыном. Никого. Тогда он перемахнул в сад и — от древа к дереву — стал пробираться к хатенке.

В саду пахло гнилыми яблоками и ботвой. Огород был пуст — дед уже выкопал картошку. В хате, стоявшей в соседнем саду, одно окно светилось. Аннушка! Она могла вернуться домой... Но он заставил себя не смотреть в ту сторону.

Он прошел мимо колодца. На цепи висело сплющенное железное ведро. Дед так и не привел его в порядок — не дошли руки. Потом подкрался к хатенке.

На земле валялось старое колесо без обода. К стене была прислонена лопата. Кривое окошко было тусклым, темным. Нечаев тихо постучал. У деда сон чуткий, услышит.

— Кто там?

— Я...

Скрипнула дверь, и Нечаев уткнулся лицом в жесткую бороду, пахнущую самосадам.

— Я не один...

— Всем места хватит, — так же тихо ответил дед.

В хате кисло пахло хлебом. Они уселись на длинные лавки. Занавесив окна рядом и старым козухом, дед зажег каганец.

Гасовский сразу приступил к делу. Не знает ли дед, где тут тяжелая батарея.

— Как не знать. Аккурат за выгоном. До нее, думаю, верстов восемь.

Гасовский невольно посмотрел на ходики, висевшие на стене. До рассвета не успеть. А все-таки...

— Вам не пройти, — дед покачал головой. — Там охрана.

Разговаривая с Гасовским, он не сводил глаз с Нечаева. Петрусь! Жив-здоров, и то слава богу...

— Должны пройти, — сказал Гасовский. — Нам позарез надо.

— Наши туда воду возят, — задумчиво произнес дед. — Каждый день. Пожалуй...

Посреди стола стоял чугунок с остывшей картошкой. Сало, которое было завернуто в тряпицу, дед нарезал тонкими ломтиками. Он не спешил.

— Да не тужи ты, ради бога. — Гасовский подался вперед.

— Подумать надо, — ответил дед. — На прошлой неделе я тоже возил. Могу опять.

— А с вами нельзя?

— Куда тебе... Вот Петрусь — другое дело. Его в селе знают. Скажу, что внук вернулся, помогает мне по хозяйству... Одежонка у меня найдется.

Он замолчал. За окном грохнуло, и в кадке, стоявшей у двери, захлюпала вода.

— Тяжелая заговорила, — сказал Гасовский.

Румынская батарея была с небольшими перерывами. Один залп, второй, третий... Умолкла она неожиданно, словно бы оглохнув от собственного грохота. И тогда Гасовский снова сказал:

— Выручай, дед.

Воду на батарею возили в пожарных бочках. Дед вывел из конюшни буланую клячу и запряг ее в повозку. Разобрав вожжи, он взобрался на облучок. Нечаев уселся рядом.

Кляча медленно перебирала натруженными ногами, отмахивалась хвостом от мух. Ведро, притороченное позади повозки, пусто стучало. Когда подъехали к колодцу, там уже ждали несколько повозок.

Колодец стоял на пыльном майдане, между хатой, в которой раньше помещалось правление колхоза, и церковью. Дед подошел к односельчанам, сгрудившимся вокруг колодца, что-то сказал им, а потом кивнул Нечаеву, чтобы он пошевеливался.

Набрав полную бочку воды, они выехали из села.

Дорога была гулкой. То была твердая грунтовая дорога, бежавшая по кукурузным полям. Она уводила в степь, в бурьяны. Когда словно бы из-под земли появились два румынских солдата, Нечаев невольно вздрогнул. Один из солдат взял лошадь под уздцы, а второй, сняв с плеча карабин, подошел к повозке.

Кивнув через плечо на бочку, дед объяснил, что везет воду на батарею. По распоряжению старосты.

Солдат кивнул, что понял, но, не выпуская из рук карабина, заглянул в бочку, потом сунул в нее руку и, скользнув взглядом по лицу Нечаева, кивнул, что можно ехать.

Повозка тронулась.

По обеим сторонам дороги валялись пустые ящики из-под снарядов. Батарея была уже близко, хотя видно ее еще не было.

Нечаев увидел ее, когда они поднялись на пригорок. Батарея стояла в ложбине. Длинные жерла четырех орудий, прикрытые для маскировки ветками, были задраны вверх.



— Стой!..

Дед натянул вожжи.

— Дальше нельзя, — сказал часовой, преградивший им дорогу. Он отобрал у деда вожжи, велел ему и Нечаеву сойти с повозки и уселся на их место.

Дорога... То была дорога на Большую Дофиновку. Слева стояли начинавшие желтеть деревья, а лиман был справа — от него тянуло прохладой. Забывшись, Нечаев расстегнул ворот сатиновой косоворотки. И вдруг почувствовал, как винтовка уперлась ему в грудь. Вот черт, он совсем забыл о втором часовом.

— Матрос?

«Выхватить у часового винтовку!» Нечаев побледнел, напрягся.

Но дед объяснил часовому, что его внук никакой не матрос, а рыбак. У них в селе все промышляют. Море близко...

И солдат нехотя опустил винтовку. Поверил! А может, был просто ленив.

Тогда, пожав плечами, Нечаев равнодушно отвернулся и стал свертывать сигарку. Батарея? А она его не интересует. Скорее бы вернулась повозка, чтобы они могли уехать домой. Отбудут повинность, и ладно.

Теперь он знал, где стоит батарея. С него было довольно и того, что он видел ее своими глазами. Дадут ему карту, и он точно покажет... Скорее бы только вернуться к своим.

На обратном пути он все время подхлестывал клячу: давай, давай... Ему не терпелось доложить Гасовскому о том, что задание выполнено, не терпелось дожидаться темноты.

Остаток дня он провел в погребе вместе с друзьями. Только когда совсем стемнело, они вылезли из погреба

и простились с дедом. Рядом с Нечаевым шагал Костя Арабаджи, который был весел — на боку у него висела полная фляга. А Нечаев смотрел в землю. Он думал об Аннушке, о своем деде. Увидит ли он его еще когда-нибудь?

Ночь была ветреной. Нечаев не догадывался, что именно в эту ночь судьба вражеской батареи, на которую румыны возлагали столько надежд, была решена. Откуда было знать ему это? Он и его друзья выполнили задание, только и всего...

Не мог он знать и того, что спустя три недели, воспользовавшись данными разведки, в тылу у румын высадится крупный морской десант и, овладев с хода Чебанкой, Старой и Новой Дофиновками, соединится возле Вапнярки с краснофлотцами того полка, в котором он сам служил, и что тогда же, 23 сентября, вражеская батарея будет захвачена. Но все произошло именно так. Орудия удалось захватить целехонькими. Их стволы все еще были задраны вверх и смотрели на город. Тут же валялись брошенные румынами котелки, шинели, винтовки... И тогда какой-то лихой морячок-десантник в заломленной бескозырке, взобрался на ствол тупоносой стальной дуры и написал на нем: «Она стреляла по Одессе. Но больше не будет!..»

Однако сам Нечаев этого не увидел. В ночь высадки десанта он был уже далеко.

Священная обязанность каждого гражданина — отдать все свои силы, а если нужно, и жизнь за Родину, за наш родной город. Одесса была, есть и будет несокрушимой крепостью большевизма на Черном море!..

*(Из листовки, выпущенной  
в дни обороны Одессы)*

## **Глава пятая**

### **ДОМ С БАШНЕЙ**

Ночью Гасовский растолкал Костю Арабаджи и велел ему поднять ребят.

Левая рука Гасовского висела на перевязи — шальная пуля задела его, когда они возвращались из разведки.

Судорожно зевая, Костя Арабаджи напялил бушлат. Сеню-Сенечку, который сладко причмокивал во сне, он нежно пощекотал веткой, Нечаеву шепнул: «Подъем!..», а над Белкиным застыл в нерешительности.

Яков Белкин трубно храпел во всю мощь своих необъятных легких. Они у него были что твои кузнечные мехи. Еще в Севастополе, когда все проходили медосмотр, Белкин на глазах у Кости с такой силой дунул в спирометр, что быстроглазая сестрица испуганно замахала на него руками. Испугалась, что он ей аппарат испортит.

С Белкиным надо было быть осторожным. Он не понимал шуток, хотя и был одесситом. И Костя легонько толкнул его в бок.

Проснувшись, Белкин вылупил на Костю глаза.

— Ты чего?

— Тише, всех румунешти разбудишь, — прошепелявил Костя.

Ночь медленно светлела. Взвод за взводом снимался с передовой. Собрались возле штаба полка. Там возле груженной полуторки расхаживал взад-вперед тучный интендант. «Сколько человек?» — спросил он у Гасовского и, когда тот ответил, отозвал лейтенанта в сторону. Поступил приказ: всех моряков переобмундировать. Что, Гасовский, кажется, возражает? Но приказы не обсуждают.

— Ребята бузу поднимут, — сказал Гасовский, качая головой. Уж он-то знал своих ребят, знал всех до одного. Когда-то он сам внушал первогодкам, пришедшим на флот, что морская форма — это такая же святыня, как судовое знамя. Умри, но форму свою не опозорь. Так как же ему теперь сказать другое?.. Не может он объяснить им. Что военная необходимость? Это он сам понимает, на суше в защитной гимнастерке воевать сподручнее. Но сердце, как известно, не всегда в ладах с разумом.

— Ну это уже не моя забота, — сказал интендант. — Не мне вас учить. Что доложить командиру полка?

Гасовский и сам знал, что приказы не обсуждают. Но ему было обидно, что напоминает об этом интендант из штатских, который, по всему виду, сам носит форму без году неделю. Гасовский надвинул козырек на глаза. Голос у него стал хриплым, наждачным. В такие минуты он всегда становился изысканно-вежлив.

— Четыре человека... — произнес он, остановившись

перед строем и стараясь не глядеть на своих ребят. — Пожалуйста... Два шага вперед! Смелее, мальчики.

Яков Белкин и еще трое grenадеров, стоявших на правом фланге, шагнули одновременно.

— Разгрузить машину. В момент.

— Есть разгрузить машину...

Тяжелые тюки полетели на землю. Не прошло и пяти минут, как все было кончено. Недаром Белкин работал когда-то грузчиком.

— Осторожнее, — сказал Гасовский, не оборачиваясь. Заложив здоровую руку за спину, он медленно прошелся перед строем и приказал, отчеканивая каждое слово: — Р-раз-де-вайсь!.. Смелее! Не замерзнете!..

— Купаться будем? — ехидно спросил Костя Арабаджи. — Так моря чтой-то не видать.

— Отставить р-раз-говор-рчики! — жестко выкрикнул Гасовский. — Р-разо-бр-рать ар-рмейское обмундирование!..

Он глядел себе под ноги.

— Я ужасно извиняюсь, это еще зачем? — счел своим долгом осведомиться Костя Арабаджи. И хлопнул себя по лбу. — Братцы, да это же бал-маскарад. Правильно, товарищ лейтенант?

Гасовский, однако, не удостоил его ответом. Ему было не до шуток. Отойдя в сторону, он принялся наблюдать за тем, как ребята надевают гимнастерки, примеряют штаны. Они поеживались от утренней свежести. Кто стоял пританцовывая, а кто уже сидел на земле... Только Яков Белкин прыгал на одной ноге, стараясь натянуть на себя штанину.

— Братцы, обратите внимание. У Якова корма не влезает, — сказал Костя со смехом.

— Что, малы? — участливо спросил Гасовский, подойдя к Белкину. — Так ты другие возьми...

— Пробовал. Не налезают... — растерянно ответил Белкин.

— А гимнастерка?

Натянув гимнастерку, Яков развел руками в стороны, и она тут же треснула. Гимнастерка была ему до пупа.

— Отставить, — сказал Гасовский, сдерживая смех. — Все обмундирование перепортишь. Скажу, чтобы завтра тебе привезли другое. Верно, товарищ интендант?

— Не знаю, найдется ли на складе. Придется, видимо, по специальному заказу...

— Фортуна!.. — Костя вздохнул, глядя на Белкина, который уже снова надел фланелевку. — И в кого я уродился такой?

Он не скрывал зависти: Яков, по крайней мере, еще сутки проходит в матросской робе. А может, и больше. Как же, станут ему шить по специальному заказу! А там... Интендант уедет — и поминай как звали. Косте было страшно даже подумать, что дружки, оставшиеся на «коробке», могут увидеть его в этой хлопчатобумажной одежонке. Первым делом спросят: что, списали тебя, браток? Или, может, разжаловали в инфантерию?.. Засмеют хлопцы. Как пить дать. В такой гимнастерке лучше не появляться на людях.

— А это что за штуковины? — растерянно спросил Сеня-Сенечка.

— Обмотки, — ответил интендант. — Не видите, что ли?

— А для чего?

— Чудак, это же роскошная вещь, — сказал Костя Арабаджи. — Я о таких всю жизнь мечтал.

И отвернулся. На Сеню-Сенечку нельзя было смотреть без смеха.

— Лейтенант, где вы?

Близоруко вглядываясь в лица моряков, интендант искал Гасовского.

— Что там еще? — Гасовский появился из-за автомашины.

— А тельняшки? Распорядитесь, чтобы они их сняли. Мы выдадим новое белье.

— Ну это ты, дорогой товарищ, брось, — тихо ответил Гасовский. — Тельняшек они тебе не отдадут, понял? Я их лучше знаю. Не отдадут — и все.

Он рассек ребром ладони воздух. Ничего не выйдет!.. Да знает ли этот интендант, что для моряка полосатая тельняшка? Ребята лягут костями.. Глаза Гасовского стали яростными, злыми. Он редко выходил из себя, а тут повысил голос:

— Будем считать, что этого разговора не было.

Костя Арабаджи, стоявший поблизости, сразу смекнул, в чем дело. Как не воспользоваться? Быстро оглянувшись, Костя сунул в карман бескозырку. Пригодится.

— Смир-рна!..

Гасовский критически осмотрел свое воинство. Ну и орлы!.. Воротники гимнастеров были умышленно растегнуты, а каски сдвинуты на затылок. К Гасовскому вернулось хорошее настроение. Пройдясь перед строем, он притворился, будто не видит, что никто из ребят не пожелал расстаться с широким флотским ремнем и заменить его зеленым, брезентовым. Гасовский даже подмигнул Белкину: дескать, держись... Белкин стоял на правом фланге в необъятном черном клеше, в фланелевке и бушлате. По мнению Кости, он один выглядел человеком.

Снова пройдясь перед строем, Гасовский громко произнес:

— Выше головы!..

Сам он, разумеется, все еще был во флотском кителе и надеялся, что ему это сойдет с рук. В крайнем случае

придется сменить ботинки на сапоги, и только. Командир он или нет? И потом, у него есть оправдание. Ему несподручно снять китель. Рука-то у него на перевязи. Гасовский был немного встревожен. Отчего их задерживают? Неужели роту отозвали с передовой только для того, чтобы переобмундировать? Тогда должны были начать с первой роты, а не с третьей. Гасовский терялся в догадках. Он то и дело посматривал на крыльцо. А может, ему пойти в штаб и самому доложить, что люди уже переоделись? Он заколебался. Командир полка наверняка отдыхал, и не стоило его тревожить по пустякам.

Наконец открылась дверь, и на пороге появился молоденький вестовой.

Ну сейчас все выяснится... Когда вестовой сбежал с крыльца, придерживая рукой тяжелую кобуру, Гасовский ему улыбнулся. Этот парень-паренек ему по гроб жизни обязан. Кто ему подарил трофейный парабеллум? Он, Гасовский. Ну а долг платежом красен.

— Звонил сам командующий... — многозначительно, слегка запинаясь, сказал вестовой. — За ними уже приехали. Моряк и еще один, в кепочке. Сидят у полковника. Сейчас выйдут.

— Командующий? Ври, да не завирайся... — Гасовский вздрогнул. — Не может быть... У меня и так каждый человек на учете.

Если бы сам господь бог позвонил командиру полка, Гасовский, пожалуй, удивился бы куда меньше. Но командующий!.. Не может быть. Откуда знать командующему о существовании какого-то Кости Арабаджи или Петьки Нечаева?..

— Я сам слышал.

— А ты, часом, не перепутал?

Нет, вестовой не ошибся. У него, слава богу, еще не отшибло память. Командующий, разумеется, звонил по



другому поводу, но напоследок сказал: «Да, вот еще что... Ты запиши фамилии, сейчас я тебе их продиктую...» И полковник записал на перекидном календаре: «Арабаджи, Нечаев, Шкляр...» Провалиться ему на этом самом месте.

Вестовой замолчал, и Гасовский, оглянувшись, увидел полковника, который появился на крыльце в сопровождении какого-то капитан-лейтенанта и штатского в мятой кепочке-восьмиклинке. Тогда Гасовский вытянулся, поднес руку к козырьку.

Приняв рапорт, полковник спросил:

— Ты всех привел?

— Всех.

— Мне нужны, — полковник заглянул в бумажку, — Арабаджи, Шкляр и Нечаев.

Занятый своими мыслями, Нечаев не сразу понял, что полковник обращается к ним. Он, Костя Арабаджи и Сеня-Сенечка стояли рядом, на виду у всей роты. Разведчики! Но Гасовский, Яков Белкин и другие ребята из их взвода тоже были разведчиками. А остались в строю.

— Спасибо, разведчики. Благодарю за службу.

Но полковник уже говорил о том, что не по своей воле отчисляет их из части. Так надо, получен приказ. Сегодня же они поступят в распоряжение товарищей... Тут он кивнул на моряка и на штатского, стоявших за его спиной. Разумеется, для дальнейшего прохождения службы. Вот все, что он может им сказать.

— Товарищ полковник. А как быть с этим? — Костя Арабаджи не растерялся и оттянул полу своей гимнастерки. — Разрешите снять?

Полковник переглянулся с капитан-лейтенантом.

— Ладно, — сказал он. — Разрешаю. Только быстро.

Они бросились к вещам, которые были свалены в

кучу. Костя ликовал. Им возвращают морскую форму, понимать надо!.. Теперь опять можно жить...

О будущем он не думал. Война научила его не загадывать так далеко.

А Нечаев смотрел на капитан-лейтенанта, у которого на кителе тускло блестели нашивки. Уж не тот ли это моряк, который его разыскивал? Ему слово в слово припомнился рассказ соседки по квартире. Но тогда этот капитан-лейтенант ошибается, Нечаев чемпионом никогда не был...

— Нечаев? Так вот вы где оказались! — сказал капитан-лейтенант, спустившись с крыльца. — А мы вас искали. И в Севастополь послали запрос.

— Мне соседка сказала, что приходил какой-то моряк, — ответил Нечаев. — Но я не знал...

О том, что его, очевидно, принимают за кого-то другого, он так и не успел сказать. Капитан-лейтенант сразу отошел и, сказав что-то штатскому в кепочке, пошел в штаб.

Тогда Нечаев повернулся к Гасовскому. Хоть руку пожать напоследок...

— Не поминай лихом, лейтенант, — сказал он.

— И ты...

Они обнялись. Нечаев сунул руку в карман и вытащил отцовскую трубку. Гасовский всегда смотрел на нее с завистью. И хотя это была единственная память об отце, Нечаев протянул эту трубку Гасовскому.

— Возьми...

— Ну что ты, мой юный друг! — как можно равнодушнее постарался сказать Гасовский. — Я ведь папиросы курю. И вообще собираюсь бросить это дело. Надо беречь здоровье.

Он почти насильно вложил трубку в руку Нечаева и закрыл ее.

— Побереги ее. Живы будем — не помрем, — ска-

зал он. — Еще встретимся, Нечай. И пустим твою трубочку мира по кругу.

Тогда Нечаев повернулся к Белкину.

— Прощай, Яков!..

Но тот буркнул, не поднимая глаз:

— Бувай!

Под пепельным небом душно тлел сентябрь. Деревья стояли недвижно. Трава под ними была жухлая, жесткая. Нескошенная, она низко стлалась по земле.

Кабина полуторки задевала за ветки акаций, стоявших вдоль дороги, и они со свистом хлестали по ней.

А вот и пригород.

Нечаев, Костя Арабаджи и Сеня-Сенечка лежали в кузове на брезенте, растянутом поверх кипы флотских брюк, бушлатов и фланелевок. Костя курил и глазел по сторонам. Он вглядывался в пустые окна, скользил взглядом по грудам кирпича и опрокинутым афишным тумбам. Он был как пришибленный. Неужели это и есть красавица Одесса?

Впереди пусто ржавели трамвайные рельсы.

Нечаев же смотрел только на эти рельсы, покорно ложившиеся под полуторку, и думал о том, что за последний месяц город стал каким-то другим. В начале августа он был еще веселым, шумно готовился к обороне, его окна как бы с удивлением прислушивались к далекому орудийному гулу, тогда как теперь это был хмурый фронтовой город, привыкший к ежедневным бомбежкам, унылым очередям за хлебом и водой, к прогорклому дыму пожарищ. Улицы-морщины еще глубже избороздили его постаревшее и осунувшееся лицо.

А полуторка не останавливалась.

О том, куда они едут, можно было только догадываться. Костя Арабаджи перевернулся на спину и, тро-

нув Нечаева за рукав, сказал, что не иначе, как в порт. Отчего он так думает? Во-первых, им вернули флотское обмундирование. А во-вторых... Он сам слышал, что отбирали только бывших водолазов и отличных пловцов. Для чего? А кто его знает... Стало быть, водолазы и пловцы теперь в цене.

— Сказанул! Мы-то не водолазы, — вмешался Сеня-Сенечка.

— Это еще ничего не значит. Водолазов тоже ищут. А я, между прочим, надевал медный котелок...

Рассеянно прислушиваясь к их голосам, Нечаев от-малчивался. Не все ли равно? В порт так в порт. Война была теперь везде. И на суше, и на море. И ей не видно было конца.

Между тем машина свернула вправо, проскочила мимо чахлого скверика и загрохотала по булыжнику.

— Это какая улица? — спросил Костя Арабаджи.

— Преображенская, — ответил Нечаев.

И тут же подумал: «Вот и спорам конец. Порт-то остался в стороне», но не рискнул сказать об этом.

— А это что за здание?

Машина проехала мимо вокзала и мягко покатила по Куликовому полю. Теперь и Нечаев забеспокоился. Куда гонит шофер? Они уже проехали весь город!..

Но Костя и сам понял.

— Везет как утопленнику, — сказал он. — Слышь, Нечай! Чует мое сердце, что я опять не увижусь с твоим знаменитым дюком Ришелье. Несет нас нечистая сила...

И дался ему этот памятник. Нечаев спросил:

— Помолчать можешь?

И вдруг они увидели море.

Оно лежало далеко внизу, и берег круто падал в голубую пустоту. Машина шла почти по краю обрыва, за

который судорожно цеплялись оливково-темные кустики дрока и пыльные акации. Сквозь их ветки и проблескивало море.

Но сейчас море не светилося, не играло на солнце. На унылом латунном блеске не было ни дыма, ни паруса. Да и берега, знакомые Нечаеву с детства, успели как будто одичать. На станциях Большого Фонтана стояли пустые заколоченные киоски. Это были те самые киоски, в которых, как помнил Нечаев, всегда весело торговали хлебным квасом и пивом, халвой и баранками. А теперь... На каменных оградах домов пухло лежала свалывшаяся пыль. И такими же дымчато-пыльными были гроздья перезревшего винограда «дамские пальчики», свисавшие через ограды.

По верандам опустевших дач бегали ящерицы.

Людей не было.

Дорога словно бы висела над морем в пустоте неба. Под нею, далеко внизу, лепились друг к другу заброшенные рыбацьи курени. Раньше, когда хозяева уходили в море, эти курени охранялись мохнатыми цепными псами, а на крутых склонах в мудром одиночестве пощипывали горькую травку старые козы. Раньше... Но ушли люди, и берег опустел, одичал, и стойкий запах жареной на прогорклom масле скумбрии и ставриды выветрился из остывших летних печей, и все вокруг выцвело, поблекло.

Со стесненным сердцем смотрел Нечаев на опустевшие берега и плоское море. Его сердце словно бы перестало отсчитывать время.

Но вот оно снова напомнило о себе властным толчком. Он приподнялся. Так и есть, то была последняя, шестнадцатая, станция. Трамвайный путь кончался возле опустевших рундуков курортного базарчика. Отсюда пологий спуск вел к просторным пляжам Золотого берега. Но водитель взял вправо, и машина вырва-

лась в открытую степь, сухо шелестевшую стеблями высокой кукурузы.

От земли шел жар. В плотном, звенящем воздухе неожиданно возникли белокаменные стены монастыря, окруженные тополями, а там снова пошла плоская пыльная степь, на которой не за что было уцепиться глазу. Дорога вела к Люсдорфу.

— Ни черта не понимаю, — признался Костя Арабаджи. — А ты, Нечай? Что скажешь в свое оправдание?..

Из них только Нечаев был одесситом, и Костя, надо полагать, считал его ответственным и за эту поездку к черту на рога, и за их будущее. В своих несчастях люди часто винят других.

— А тут, если хочешь знать, и понимать нечего, — Нечаев, разозлясь, отвернулся. Он знал, что фронт проходит где-то возле Сухого лимана. Куда же им еще ехать?

Но машина опять свернула. Теперь уже влево, к морю.

Какой одессит не знал этих мест? Вот уж сколько лет их называли по-домашнему просто — «дача Ковалевского». Жил-был чудак, которому вздумалось построить дачу далеко за городом, что называется, на отлете, и не только дачу, но и высокую круглую башню, чтобы по вечерам сидеть на верхотуре и глазеть на нарядные пароходы, приближающиеся к Одессе. А почему бы и нет? Каждый по-своему с ума сходит.

Машина остановилась резко, сразу. У ворот под грибком стоял матрос с винтовкой.

— Приехали, — весело объявил капитан-лейтенант, высовываясь из кабины.

Он соскочил на землю, одернул китель. Следом из кабины выбрался и его спутник в серой кепочке.

От Нечаева не укрылось, что капитан-лейтенант раз-

говаривает со своим спутником так почтительно, словно тот имел адмиральское звание.

Нечаев, Костя Арабаджи и Сеня-Сенечка перемахнули через борт. После этого водитель дал газ, развернул машину и повел ее обратно в город.

Еще через минуту полуторки и след простыл.

— Со мной!.. — сказал капитан-лейтенант часовому.

«Как его фамилия?» — думал Нечаев, глядя в широкую спину капитан-лейтенанта. Соседка сказывала, да он успел позабыть.

Узкая прямая тропка, проторенная в лебеде и крапиве, вела от ворот в глубь усадьбы к веселому двухэтажному дому с балконами и крытыми верандами. Дом стоял на краю обрыва. На его южном фасаде, обращенном к морю, Нечаев увидел две каменные рюмки на тонких ножках. Гостеприимный хозяин этого дома, надо полагать, был не дурак выпить.

— Раньше этот дом принадлежал Федорову, — сказал капитан-лейтенант. — Был до революции такой малоизвестный писатель. Но дружил с Куприным, с Бунинным. Они, говорят, сюда частенько навевались. Отдохнуть, порыбачить. Может, слышали?

— За Федорова не скажу, — ответил Костя Арабаджи. — А вот Куприн и у нас в Балаклаве бывал, мне батя рассказывал. — Он замолчал и поднял глаза на капитан-лейтенанта. — Вы нас зачем сюда привезли, на экскурсию?

— Что ты, тебе ведь было сказано. Отдохнуть, порыбачить, — сказал Сеня-Сенечка.

— Не совсем так, — капитан-лейтенант усмехнулся. — Время для этого вроде бы не совсем подходящее, а?

— Вот и мы так думаем, — вмешался Нечаев. — Быть может, вы нам все-таки объясните?

— Непременно, — перебил его капитан-лейтенант. — Сегодня же объясню. Но сначала... Дневальный! — крикнул он в раскрытую дверь.

Дневальный с боцманской дудкой на груди прищелкнул каблуками.

— Он вас отведет, — сказал капитан-лейтенант, кивнув на дневального. — Располагайтесь, устраивайтесь... Кубрик для вас приготовлен на втором этаже. У нас тут, надо вам знать, корабельный порядок. Подъем, отбой, все как полагается.

— Дело! — Костя Арабаджи кивнул.

Капитан-лейтенант посмотрел на часы.

— Обед через сорок минут, — сказал он. — Встретимся в кают-компании. Прошу не опаздывать.

— Не опоздаем! Мы ведь еще не завтракали, — ответил Костя Арабаджи.

Комнатка, которую капитан-лейтенант любовно называл кубриком, выходила окнами в заглохший сад. Железные койки были заправлены — не придерешься. Костя Арабаджи прислонил винтовку к стене и с разгона плюхнулся на ближайшую койку. Лафа!.. Еще вчера он даже не смел мечтать о чистых простынях...

— Вы как хотите, а мне все это чтой-то не нравится... — Сеня-Сенечка покачал головой и осторожно присел на соседнюю койку. — То ли госпиталь, то ли санаторий. Сразу и не поймешь. Да, Нечай?

Нечаев не ответил. Сидя на корточках, он запихивал свой вещмешок под кровать. И, когда дверь за его спиной отворилась с грохотом, он невольно вздрогнул.

На пороге стоял верзила-матрос со светлыми рыжеватыми усиками на скуластом лице.

— С прибытием!.. — пробасил матрос и развел руки в стороны, словно хотел сгрести в охапку и Нечаева, и Сеню-Сенечку, и Костю Арабаджи вместе с их койками и тумбочками. — Будем знакомы. Троян, стар-



шина второй статьи. А в мире просто Гришка, Григорий...

Он шагнул вперед, и в комнате сразу стало тесно, и, когда за ним в нее ввалились его дружки, она и вовсе превратилась в душный корабельный отсек. Не повернуться! Кто оседлал стул, а кто взобрался на подоконник.

Троян и четверо его дружков прибыли еще вчера вечером. Откуда? Троян подмигнул: об этом история умалчивает... Их предупредили, чтобы не болтали лишнего. Кто? Разумеется, капитан-лейтенант...

— Брось заливать, Гришка, — сказал веснушчатый матрос в тельняшке с закатанными рукавами. — Тут все свои. А вы откуда, ребята? — Он повернулся к Косте Арабаджи.

— Из первого полка. Разведчики. А до этого...

— Подходящая анкета, — кивнул веснушчатый и подбоченился. — Ну а мы — дети лейтенанта Гранта. Слышал о таком?

На Костю, однако, его похвальба не произвела впечатления.

— Думаешь, я про детей капитана Гранта не читал? — спросил он с обидой. — Грамотный...

Его слова заглушил хохот. У Трояна проступили слезы. Веснушчатый упал на койку.

— Уморил!.. — Он с трудом сел, держась за живот. — Да мы из отряда лейтенанта Гранта Казарьяна.

— Теперь уже старшего лейтенанта Казарьяна, — уточнил Троян.

Так вот они какие!.. Нечаев с интересом и уважением посмотрел на Трояна. Он слышал об этих лихих разведчиках. О них рассказывали чудеса. Говорили даже, будто у них в отряде есть девушки...

— Только одна, — ответил Троян. — Но мы бы ее и на десяток парней не променяли.

Потом Троян сказал, что вчера их подняли по тревоге. Думали, новое задание. А им говорят: «Собирайтесь». Только пятерым. И повезли. А отряд остался на Татарке. Ребята, должно, отдыхают. А может, снова в тыл к румынам ушли, тут разве узнаешь? Капитан-лейтенант отшучивается. А из второго, который в кепочке ходит, вообще слова не вытянешь.

— Я бы на твоём месте смотался в город, — сказал Нечаев Трояну. — В три часа вполне обернуться можно.

— В город? Легко сказать! А ты попробуй, — ответил Троян. — Ты что, часовых не видал? Не выпускают. Муха и то не пролетит.

— Как? — Костя Арабаджи вскочил. — Мы разве под арестом?

— Понимай как знаешь.

— Тогда я этому капитан-лейтенанту...

— Не поднимай волну! — Нечаев схватил его за руку. — Сиди.

— Так ведь обедать пора, — Костя еле-еле ворочал языком. — Одним воздухом сыт не будешь.

— А как тут харчи? — спросил Сеня-Сенечка. Он всегда был хозяйственным парнем.

— Ну кормят как на убой, — ответил Троян. — Сами увидите.

Длинный стол, накрытый клеенкой в ромбиках, стоял посреди пустой комнаты. Двери и окна, выходившие на веранду, были открыты. Капитан-лейтенант не заставил себя ждать. Рядом с ним уселся штатский, снявший кепочку, и тут оказалось, что он лысый и его темя медно блестит. Капитан-лейтенант уважительно величал его Николаем Сергеевичем.

Дневальный открыл привезенные из города термо-

сы — на даче не было камбуза — и разлил по тарелкам янтарный суп. В центре стола высилась горка ржаного хлеба.

Обедали чинно, степенно. Капитан-лейтенант притворялся, будто не замечает настороженных взглядов.

— Тут некоторые интересуются, — не вытерпел Нечаев, — для чего нас сюда привезли.

— Как для чего? — капитан-лейтенант постарался изобразить удивление. — Купаться будем, плавать... Надеюсь, плавать все умеют?

— Какой моряк не умеет плавать? — обиделся Костя Арабаджи. — Я во всех заплывах участвовал.

— А другие?

Никто не отозвался. Нечаев не поднимал глаз. К чему эта игра? Капитан-лейтенант отлично знал каждого. Он их сам отбирал. А теперь темнит.

Молчание затянулось. Тогда Нечаев не выдержал:

— Допустим, что и остальные умеют плавать, — сказал он. — Вы это хотели от нас услышать?

У капитан-лейтенанта были маленькие хитрые глазки. Когда он шурился, они напоминали мальков, запуставшихся в густой сети морщинок.

— Вот именно, — подтвердил капитан-лейтенант. — Тогда, пожалуй, начнем...

Восемь пар глаз смотрели на него настороженно, цепко. Слышно было, как внизу, под обрывом, монотонно шумит море.

— Давайте знакомиться, — сказал капитан-лейтенант.

Он произнес это так весело именно потому, что по натуре своей был ворчлив, неулыбчив и, зная эти свои слабости как никто другой, боялся отпугнуть от себя этих ребят. Нет, он не старался произвести на них впе-

чатление. И заигрывать с ними он тоже не собирался. Пусть впечатление производят барышни. А командирам, которые подлаживаются под своих подчиненных, грош цена. Ему просто хотелось расположить их к себе, заручиться их доверием.

Он рассказал им о себе. Окончил училище имени Фрунзе, плавал на крейсере, а потом... Впрочем, что такое разведка, они знают не хуже его самого. Но есть еще и разведка другого рода, и контрразведка, без которой на войне тоже не обойтись. Так вот, все это по его части. А теперь еще и диверсии в глубоком тылу противника. Кто-то ведь должен заниматься и таким опасным делом?

— Само собой, — кивнул Гришка Троян. — А теперь, стало быть, выбор пал на нас. Что от нас требуется?

— Об этом речь еще впереди, — сказал капитан-лейтенант и оглядел ребят. Понимают ли они, куда он клонит? Отдают ли себе полный отчет в том, что он только что говорил?.. По их лицам, ставшим сурово-спокойными, он понял, что они прониклись вниманием к его словам, и шумно, с облегчением вздохнул. Раз так, то он найдет с этими ребятами общий язык. — А теперь пусть каждый из вас расскажет о себе, — предложил он. — Отныне у нас не может быть секретов друг от друга. Ну, кто первый? Троян, давай...

Они просидели за столом до ужина.

Все попытки фашистов прорвать линию обороны Одессы разбиваются о непоколебимую стойкость мужественных защитников города, Героически сражаются на подступах к городу моряки Черноморского флота. В одном из боев отряды краснофлотцев при поддержке огня наших батарей два раза ходили в атаку против пехотной дивизии противника. В ожесточенных схватках отборные части вражеской дивизии были разгромлены...

*(Из сообщения  
Совинформбюро)*

## **Глава шестая**

### **ГОСТЕПРИИМНОЕ МОРЕ**

Проснувшись, Нечаев включил репродуктор. Этот черный бумажный репродуктор висел у него над головой. Из него ежедневно обрушивались черные вести. После упорных боев наши войска вынуждены были оставить древний Новгород. А еще через две недели немецкие танки вошли в Днепропетровск. Но под Одессой противник не сумел добиться сколько-нибудь значительных успехов.

Одесса продолжала сражаться.

Румынским войскам так и не удалось выполнить очередной истерический приказ Антонеску «овладеть городом любыми си-

лами и средствами». Но они все еще предпринимали отчаянные попытки прорваться хотя бы в восточном и западном секторах. Вражеская артиллерия методически обстреливала город и порт. Самолеты сбрасывали сотни зажигательных бомб на жилые кварталы, и едкий дым длинно стлался над домами, над причалами.

Сентябрь выдался жаркий. Дождей не было.

На узком фронте, стоя почти впритык друг к другу, действовали девять пехотных дивизий противника. В южном секторе противник продолжал рваться к Дальнику. Не утихали бои в районе Хаджибеевского лимана. По данным разведки («Наши ребята постарались», — сказал Костя Арабаджи), противник сосредоточил крупные силы артиллерии и подтянул к линии фронта новые дивизии.

— Как там наши? — спросил Сеня-Сенечка.

Как и Нечаев, он все еще жил интересами своего полка, ставшего ему родным, и постоянно думал о том, как воюют его дружки.

— Ничего не сказали, — ответил Нечаев и выключил репродуктор. Откуда было знать ему, что в далеком Бухаресте бывший офицер и бывший русский, а ныне кафешантанный певец Петр Лещенко уже укладывает чемоданы, чтобы открыть в Одессе собственное «заведение»? Нечаев знал, что защитники города стоят насмерть. Но на так называемой даче Ковалевского, в нескольких километрах от передовой, жизнь текла так тихо, словно в мире не было никакой войны.

Небо над каменным домом Федорова было белесым. Доносились далекие раскаты орудийного грома. Из степи в открытые окна по утрам тянуло гарью. Но в остальном жизнь была спокойной и сытой.

Однако обитатели этого дома знали, что в один прекрасный день их курортной, по словам Кости Арабаджи, житухе придет конец и что денек этот, как гово-

рится, уже не за горами. Они знали, что их ждут такие испытания, перед которыми фронтовые будни с их атаками, контратаками и ночными поисками будут казаться, как говорил все тот же Костя Арабаджи, «детским лепетом».

В первый же день, когда кончилась неизвестность, Костя перестал психовать.

— Пока не поздно, каждый из вас может еще отказаться, — предупредил их тогда капитан-лейтенант. — Подумайте.

Потом он сказал, что никто не посмеет их упрекнуть в трусости.

Далеко не каждый способен отказаться от родных, от друзей, от самого себя. На фронте человек никогда не чувствует себя одиноким. Даже когда он отправляется в тыл врага, рядом с ним идут его товарищи. Да и в тылу этом всегда найдутся люди, которые тебя приютят и помогут с риском для собственной жизни. Впрочем, это они знают сами... А на его долю выпала нелегкая задача отправить их в неизвестность. В любую минуту может отказаться техника, которая, он сразу предупреждает об этом, еще далека от совершенства. Но и это не все. Даже избежав опасностей, даже успешно выполнив задание, каждый из них рискует застрять на чужом берегу. Один. И хорошо еще, если это одиночество продлится несколько дней. Но ведь может случиться и так, что эти дни вытянутся в месяцы, в годы... А ты совсем один. Родные и друзья уверены, что ты погиб. А ты... Только после войны ты сможешь вернуться на родину, воскреснуть из мертвых. Незавидная участь. Так вот, пусть каждый из них спросит себя, готов ли он к этому.

— Как страшно!.. — Троян пожал плечами. — Вы, товарищ капитан-лейтенант, так меня напугали, что мурашки по спине бегает. К мамочке захотелось.

— Вас разве испугаешь? — капитан-лейтенант усмехнулся, забарабанил пальцами по столу. — Я просто хочу, чтобы вы все взвесили. Даю вам два часа. Потом каждый из вас сообщит мне свое решение. Обещаю, что, кроме меня, никто о нем не узнает. Тем более что того, кто откажется, я все равно не смогу отправить в часть. До окончания операции ни один из вас не выйдет за ворота. Часовым приказано стрелять. Этого требуют интересы дела. Ну как, принимается мое предложение?..

— Лучше пусть каждый скажет. Открыто, — произнес Нечаев. — Не знаю, как другие, а я даю согласие.

Сказав это, он подумал о матери. Что бы с ним ни случилось, мать будет надеяться. А вот Аннушка... Будет ли она его ждать?..

— Не ты один. Я тоже согласен, — сказал Костя Арабаджи.

— Как хотите, — капитан-лейтенант поднялся. — В открытую так в открытую. Кто еще согласен? — Он пересчитал поднятые руки. — Выходит, все? Спасибо, товарищи. — Потом, снова усмехнувшись, он пригрозил: — Теперь пеняйте на себя, — и сразу стал серьезным.

На берегу лежали сухие свалявшиеся водоросли. Ветер уже успел выдуть из них йодистый морской запах, и они напоминали войлок.

Берег, куда хватал глаз, был в ослизлых камнях. Стада камней грели спины на жестком солнце. Днем они были черными, а в часы прибоя, когда с них стекала морская пена, зеленели.

Но за камнями начинался первобытно чистый морской простор.

Древние называли это море Гостеприимным. Его



темная вода была нежной, мягко ласкала тело. Но стоило проплыть в ней два-три часа, как она теряла свою летнюю ласковость, и кожа на груди и на руках становилась жесткой, шершавой.

А плавать приходилось много. Каждое утро они спускали на воду весельный бот и уходили в море. На корме, подавшись вперед, сидел капитан-лейтенант в выгоревшем рабочем кителе. Он командовал: «Суши весла!», после чего они стягивали через головы тельняшки и, оставшись в одних трусах, прыгали в воду, прозрачную до самого дальнего дна. Нечаев обычно прыгал с открытыми глазами и видел, как на песчаном дне шевелятся бурые водоросли.

Морское дно слабо отражало дневной свет. Вода упруго выталкивала Нечаева, и он, выбросив руки в стороны, несколько минут, наслаждаясь полетом, плыл стилем «баттерфляй», а потом уже переходил на спокойный, размеренный брасс. Куда спешить? Впереди было десять километров.

Но Костя Арабаджи часто зарывался, и Нечаеву приходилось его сдерживать. Справиться с Костей было непросто — капитан-лейтенант и то с трудом держал его в узде. Косте казалось, будто с ним обращаются как с салажанком. Ему не терпелось поскорее дорваться до настоящего дела.

Разозлясь на него, Нечаев заявил, что не желает иметь такого напарника. Им предстоит рискованное дело. Может Костя это понять? Его фокусы Нечаеву уже надоели.

— Ну и целуйся со своим Шклярком, — обиженно заявил Костя Арабаджи. — Меня Троян возьмет. Мы с ним быстро споемся.

На Гришку Трояна Костя смотрел с обожанием. Вот это человек! Ему бы подковы гнуть. Рядом с ним Костя расправлял плечи.

Гришка Троян был родом с Болгарских хуторов. До призыва он работал молотобойцем.

Да и остальные «дети» лейтенанта Гранта были Косте по душе. Ребята что надо. По вечерам Костя постоянно пропадал в их кубрике, и там стоял дым коромыслом.

А Нечаеву хотелось тишины, покоя. Он знал, что обязан Косте по гроб жизни, но предпочитал оставаться с Сеней-Сенечкой, с которым можно было и поговорить по душам, и помолчать вместе.

Лежа с открытыми глазами, Нечаев думал о матери, о сестренке. Он даже не знал, добрались ли они до Баку. Потом вспоминал деда, Аннушку... О чем бы он ни думал, его мысли возвращались к ней. Анна, Аннушка... Она и думать о нем, наверно, уже забыла. Взбалмошная, ветреная девчонка. Кто ее не знал на Корабельной стороне? Попробуй к такой подступить-ся!.. А ему нравилось, что она такая, что она остра на язык. Он ей все прощал. Даже то, что она не ему одному назначала свидания.

Он думал о ней после отбоя, в темноте, когда ему никто не мог помешать. Перед ним возникало ее личико с припухлыми губами и родинкой на левой щеке. Разлетались косы, мелькали легкие прюнелевые туфельки... Туфельки с перепонками, он почему-то помнил даже это. Но заглянуть в ее узкие косящие глаза ему никак не удавалось. Не потому ли, что он смотрел на Аннушку и на себя как бы со стороны?

Иногда ее лицо было совсем близко. Казалось, вот-вот услышишь ее дыхание. Но нет, то был ветер.

Этот ветер расшатывал рыжее фронтовое небо, сожженное артиллерийским огнем, и ночь наполнилась сухим шорохом, а Нечаеву слышались трубы духового оркестра, игравшего бурную польку и вальс-бостон на дощатой эстраде в тот последний предвоенный вечер,

который он провел вместе с Аннушкой. Не думал он, что этот вечер будет последним. Эх!.. Но чем пристальнее он вглядывался в знакомое лицо с родинкой, тем призрачнее и нереальнее становилось оно, размытое тьмой. И тогда Нечаев засыпал.

Утром, спускаясь к морю, они всегда проходили мимо длинного деревянного сарая, стоявшего под обрывом. Крыша сарая позеленела от старости, на его темных досках сединой проступала морская соль. Когда-то в этом сарае, должно быть, рыбаки хранили свои снасти и улов — пустые, рассохшиеся бочки все еще валялись вокруг, — но теперь к нему нельзя было подойти: его круглосуточно охраняли часовые с винтовками.

Даже у капитан-лейтенанта не было ключей от сарая. Доступ к хранившимся в нем сокровищам имел только Николай Сергеевич, который возился в нем при свете «летучих мышей» с утра и до ночи. Что он там делал?.. Об этом можно было только догадываться. Но когда он в своей неизменной кепочке-восьмиклинке, повернутой козырьком назад, выползал из глубины сарая на солнышко, от него разило машинным маслом, тавотом и бензином.

В этой кепочке Николай Сергеевич был похож не то на мотогонщика, не то на знаменитого авиатора Сергея Уточкина, чьи портреты, наклеенные на паспарту, красовались раньше в витрине образцовой фотографии на Дерибасовской. Знаменитый авиатор, как знал Нечаев, был заикой. А Николай Сергеевич просто не раскрывал рта.

За столом он горбился, листал газеты и журналы, которые привозили из города, а потом, когда обед подходил к концу, с облегчением отставлял стул. И снова

по отвесной лесенке, которую капитан-лейтенант называл штормтрапом, спускался к сараю.

— Беспокойный дяденька, — сказал Костя Арабаджи.

— Беспокойный? Скорее обстоятельный, — ответил капитан-лейтенант. — Для вас же старается. Вы ему потом спасибо скажете. А сейчас... Займемся водолазным делом. Троян! Вы, кажется, были водолазом? Поможете другим. Не забыли еще, как надевается скафандр?

— А снаряжение? — спросил Троян.

— Это моя забота. Значит, договорились?

Капитан-лейтенант не бросал слов на ветер, они не раз имели возможность убедиться в этом. Не успели они встать из-за стола и покинуть кают-компанию, как дневальный доложил о прибытии водолазного бота «Нептун».

— Вот и отлично, — сказал капитан-лейтенант. — Передайте капитану, что до утра команда свободна. Пусть проверят снаряжение, а потом могут отдыхать.

— Вот это да! Фокус-покус! — только и смог пробормотать Костя Арабаджи.

Водолазный бот пришел из Одесского порта, к которому был приписан. На нем были две водолазные станции и декомпрессионная камера. В общем, небольшое валкое суденышко с широкой кормой и обшарпанными бортами, на котором не разгуляешься. Но для учебных занятий оно вполне годилось.

В этом все убедились утром, когда поднялись на борт «Нептуна». Матрос убрал сходни, и бот отошел от берега.

Затем бросили якорь, и капитан-лейтенант велел Трояну приготовиться к спуску.

Надев рейтузы, свитер и шерстяную феску, Троян снял с плечиков водолазную рубаху и просунул в нее

ноги. Тогда Костя Арабаджи и Сеня-Сенечка ухватились за края рубахи с двух сторон и одним длинным рывком натянули ее на Трояна до самого горла. Теперь очередь была за манишкой и медным котелком.

Присев на корточки, Сеня-Сенечка завязал на ногах Трояна тяжелые водолазные калоши, навесил ему на спину и на грудь свинцовые «медали», а Костя Арабаджи тем временем намочил водой иллюминатор и завернул его до отказа. Компрессор уже работал.

После этого капитан-лейтенант шлепнул Трояна ладонью по котелку. Пошел!..

И Троян, стоявший на трапе, нащупал ногой нижнюю ступеньку.

После Трояна и Кости Арабаджи наступил черед Нечаева.

Он спускался медленно, постепенно привыкая к глубине. Воздух? Воздух был хорош. Нечаев то и дело нажимал на клапан. Потом он осмотрелся. Солнечный свет пронизывал толщу воды — вокруг было теплое подводное лето. Но когда Нечаев спустился на грунт, это лето сменилось сумеречной прохладой осени. Пробыв под водой около получаса, он подал сигнал, чтобы его подняли.

А на завтра все повторилось. Спуск, подъем, дежурство на телефоне. По лицу капитан-лейтенанта Нечаев видел, что тот доволен, хотя и помалкивает. Хвалить, очевидно, было не в его привычке.

И тогда, к удивлению, вдруг заговорил Великий немой.

Так они промеж себя называли молчаливого Николая Сергеевича, фамилии которого никто не знал. Они прозвали его так потому, что помнили время, когда Великим немой было кино, помнили первые звуковые фильмы «Снайпер», «Встречный» и «Путевка в жизнь», о которых в газетах писали: наконец-то Великий не-

мой заговорил. И теперь, услышав голос Николая Сергеевича, они поразились этому не меньше, чем тогда, когда увидели первые звуковые фильмы.

У Николая Сергеевича оказался тенорок.

— Голос прорезался, — шепнул Нечаеву Костя Арабаджи.

— Сегодня я вам кое-что покажу, — сказал Николай Сергеевич после завтрака. — Вы не возражаете? — Он покосился на капитан-лейтенанта.

— Они в вашем распоряжении.

— В таком случае мы отправимся сейчас же.

Он повел их к штормтрапу и, когда они спустились, подвел к сараю. Предъявив часовому пропуск, он вынул из кармана связку ключей и открыл оба висячих замка, после чего зажег фонарь и высоко поднял его над головой.

И тогда в темной сырой глубине сарая залоснились туши четырех металлических рыб. Их длинные тела покоились на клетках-подставках. Не удержавшись, Николай Сергеевич похлопал одну из них по спине. Это были его детища, и он явно гордился ими. Нечаев подумал, что сбоку рыбина похожа больше на двухместный мотоцикл, с которого сняли колеса. Ласково, любовно оглаживая бока железной рыбины, Николай Сергеевич приступил к рассказу. Не только Нечаев с друзьями, но и капитан-лейтенант слушал с открытым ртом.

— Перед вами управляемые торпеды «Дельфин»... — начал Николай Сергеевич, как на уроке.

Он запретил делать записи. Пусть слушают и запоминают. Конструированием подводных лодок-малюток и торпед — речь идет об управляемых торпедах — сейчас заняты ученые во многих странах. Некоторых успехов добились англичане и итальянцы. Разумеется, все работы ведутся секретно, и точными данными он не располагает... Он может лишь сказать, что итальянцы, к при-

меру, уже создали управляемую торпеду «Майяле». Этим делом у них руководит адмирал Каваньяри. Но у него нет времени для того, чтобы углубляться в историю вопроса и заниматься сравнениями... Существуют управляемые торпеды разных систем. Что же касается задачи, которая стоит перед ними, то она заключается в том, чтобы в кратчайший срок овладеть «Дельфином», научиться им управлять...

Торпеда имела около пяти метров в длину. Электромотор приводил в движение два гребных винта, сидевших на одной оси. Стоило повернуть рукоятку вправо или влево, как торпеда меняла курс. Той же рукояткой управляли для погружения и всплытия торпеды. Просто и удобно.

Николай Сергеевич уселся на место водителя, по привычке повернул кепочку козырьком назад и снова стал похож на мотогонщика. Перед ним находилась светящаяся приборная доска. Не забывай только следить за показаниями.

— Нечаев, — сказал Николай Сергеевич. — Займите, пожалуйста, второе место. Смелее.

— А она не кусается? — спросил Костя Арабаджи.

— Кусается? Тогда вы садитесь. Нечаев, извините. Уступите место товарищу.

— Есть, — ответил Нечаев, слезая с торпеды.

— Смотри стремена не потеряй. Мигом из седла вылетишь, — сказал Троян, обращаясь к Косте.

— Правильно, ноги вденьте в стремена, они для того и предназначены, — сказал Николай Сергеевич, не оборачиваясь. — Ну как, удобно?

— Ничего... — пробормотал Костя. Ему, очевидно, хотелось добавить, что жить можно, но он не посмел.

— На вашу долю выпало регулировать поступление воды в цистерны, — продолжал Николай Сергеевич. — Нашли рычаг? Отлично. Электрический насос перека-

чивает воду из носовой дифферентной цистерны в кормовую, обеспечивая торпедо устойчивость. Надеюсь, все понятно?

— Понятно, чего там, — поспешно ответил Костя Арабаджи. Но после отбоя, когда они остались одни в кубрике, Костя признался Нечаеву и Сене-Сенечке, что от всех дифферентов у него уже башка трещит. Ну и денек! Лучше проплыть лишних десять километров, чем просидеть час на занятиях.

— А ты скажи об этом капитан-лейтенанту, — посоветовал Нечаев. — Он тебе посочувствует.

— Ну нет, — Костя сплюнул. — Нема дурных. Раз надо, то я эту премудрость осилю. Ты послушай, Нечай, я верно запомнил? Управляемая торпеда «Дельфин» состоит... Зарядное отделение со взрывателем, приборная доска, цистерны с клапанами, ящик для инструментов, аккумуляторные батареи, электромотор, помпы... Вот и все! — выкрикнул он весело. — Разумеется, не считая гребных винтов и рулей. Ну как?

— Троечку тебе Николай Сергеевич поставит, — сказал Нечаев. — А теперь давай спать.

Он устал. Сказывалось напряжение последних дней. Их никто не торопил, но уже по одному тому, как вел себя капитан-лейтенант, можно было догадаться, что время не терпит. Капитан-лейтенант все чаще отлучался в город и возвращался оттуда озабоченным.

Нечаев чувствовал, что их тихой загородной жизни вот-вот придет конец. Ну что ж... С каждым днем он все больше убеждался в том, что «Дельфин» не подведет. Крейсерская скорость торпеды, правда, была невелика, всего лишь три узла, но зато она могла опуститься на значительную глубину. Куда сложнее обстояло дело со снаряжением.

Водонепроницаемый резиновый комбинезон — не водолазная рубаша. Дыхательный прибор укреплен на



лямках. Маска плотно облегает лицо. От нее шла длинная гофрированная трубка, такая же, как у противогаза.

В этом легком снаряжении Нечаев чувствовал себя отрезанным от всего мира. Спускаясь под воду, он знал, что никто не сидит на телефоне, чтобы прийти на помощь в минуту опасности. Спускаясь под воду, он уходил в глухое безмолвие и одиночество.

И маска, и дыхательный аппарат были еще далеки от совершенства. Первый спуск чуть было не оказался для Нечаева последним. Отравление углекислым газом началось исподволь, почти незаметно. Сначала появилось какое-то легкое, приятное ощущение. Показалось даже, будто руки стали теплее, а маска уже не так сильно давит на лицо. Да и дышать было легче. Но затем появился озноб и потемнело в глазах. Хорошо, что за спиной у Нечаева сидел Сеня-Сенечка, почувствовавший неладное. Когда Нечаев завалился на бок, Сеня-Сенечка выхватил нож и перерезал веревки, на которых на груди у Нечаева висел балласт, и тот пробкой вылетел из воды.

Но делать нечего, приходилось довольствоваться тем, что есть. Когда еще изобретут усовершенствованный аппарат! Могут пройти месяцы, если не годы. А тут... В любую минуту капитан-лейтенант мог, сидя за столом, отложить в сторону бумажную салфетку и сказать:

— Ну, хватит вам прохлаждаться...

Операции, проводившиеся советскими войсками в первые месяцы Великой Отечественной войны на Украине, по своим масштабам, количеству участвовавших в них сил и продолжительности далеко превосходили все, что до этого времени было известно в прошлых войнах. Боевые действия велись силами двух фронтов во взаимодействии с Черноморским военно-морским флотом.

*(Из сборника  
«Важнейшие операции Великой  
Отечественной войны»)*

## **Глава седьмая**

### **В походе**

Он проснулся сразу, как будто его пронзил льдистый свет луны, заливавший кубрик, и увидел над собою лицо капитан-лейтенанта, который поднес палец к губам.

Дверь была приоткрыта. Капитан-лейтенант прошел к ней на цыпочках, и Нечаев, натянув фланелевку и брюки, лежавшие на табурете у изголовья, босиком прошлепал за ним. Он успел заметить, что койка Сени-Сенечки пуста. Только Костя Арабаджи все еще дрых сном праведника, причмокивая во сне губами: Костя всегда уверял, будто видит дивные сны.

Обулся Нечаев под лестницей.

Когда он вошел в кают-компанию, там горела керосиновая лампа, накрытая жухлой газетой. В ее теплом домашнем свете Нечаев увидел Николая Сергеевича, сидевшего за столом, Гришку Трояна, веснушчатого Игорьька, которого Троян, к огорчению Кости Арабаджи, выбрал себе в напарники, и Сеню-Сенечку. Капитан-лейтенант проверял светомаскировку на окнах.

Лампа слабо потрескивала в чуткой ночной тишине, и на стенах двоились тени. Огромная тень Гришки Трояна, сломанная под прямым углом, упиралась в потолок.

Убедившись, что окна зашторены плотно, капитан-лейтенант вернулся к столу и сказал:

— Есть разговор.

Он был, как теперь заметил Нечаев, в новеньком суконном кителе. Его глаза жестко поблескивали из-под козырька.

— Разрешите сбегать за вещами? — попросил Троян.

— Никаких вещей. Они вам не понадобятся, — ответил капитан-лейтенант. — Надеюсь, вы понимаете, почему я вас поднял? Получен приказ. Так вот, попрошу сдать документы, фотографии, письма... Все, все. Выверните карманы.

Подойдя к столу, Нечаев вывалил из карманов все свое богатство: карандаш, записную книжку, иголку с ниткой, спички... Фотографий у него не было. Аннушка обещала ему подарить свою фотокарточку, но так и не удосужилась. Напоследок Нечаев вытащил из кармана отцовскую трубку, от которой великодушно отказался Гасовский. Быть может, капитан-лейтенант разрешит...

— Браеровская. Ничего не скажешь, хороша, — сказал капитан-лейтенант. — Что, отцовская? К сожалению, все равно не могу... Но вы не беспокойтесь, Нечаев. Она будет цела. Получите ее, как только вернетесь.

Нечаев счел за лучшее промолчать.

— А значки тоже снять? — спросил Игорек, борясь с зевотой.

— Разумеется.

— Ну, это уже не снимешь. — Троян завернул рукав фланелевки и показал татуировку. — Наколка.

— Да, — капитан-лейтенант подался вперед. — Что там у вас?

— Якорек. И русалка.

— Это еще куда ни шло, — сказал капитан-лейтенант с облегчением. — Вот если бы звезда или серп и молот... Пришлось бы мне отстранить вас от выполнения задания. Черт, как это я упустил из виду!

Он покачал головой и усмехнулся, признавая свою ошибку. И сразу снова стал строгим, официальным.

— Хорошо, что напомнили, — сказал он. — Больше ни у кого нет татуировок? Слава богу. Так вот...

Только теперь Нечаев заметил, что в углу кают-компании лежат четыре тюка. Не иначе как снаряжение... Он подобрался и стал слушать.

— На вас возложена задача...

В лампе потрескивало пламя. Николай Сергеевич ерзал на стуле. Он тоже вслушивался в ровный голос капитан-лейтенанта, объяснявшего боевое задание его питомцам. Это он рекомендовал капитан-лейтенанту лучшие экипажи и теперь, чувствуя свою ответственность, нервничал.

А капитан-лейтенант между тем продолжал:

— Дальнейшие указания получите на месте, когда командир лодки уточнит обстановку, — сказал он. — Лодка будет ждать вашего возвращения. Но может случиться... Тогда за вами придут через четверо суток. Это время придется пересидеть на берегу. Старик предупрежден. Он работает сторожем на винограднике. Там и живет. Пароль: «Де твоего момиче?» Старик должен

ответить: «Легна сп вече, аго!» После чего надо сказать: «Иван Вазов», на что старик снова ответит: «Под игото. Роман в три части». Постарайтесь запомнить.

— Выходит, этот старик... болгарин? — спросил Троян.

— Я и забыл, что ты с Болгарских хуторов, — капитан-лейтенант впервые улыбнулся. — Что ж, это к лучшему. Стало быть, легче запомнишь. Повтори.

— Де твоего момиче?

— Легна сп вече, аго! — ответил за старика капитан-лейтенант.

— Иван Вазов.

— Под игото. Роман в три части, — снова ответил капитан-лейтенант. — Первые две фразы взяты из этой книги.

— А кто этот Вазов? — спросил Игорек.

— Писатель, — вмешался Николай Сергеевич. — Кстати, свой роман он написал у нас в Одессе.

— И вот еще что, — сказал капитан-лейтенант. — Если сторожа на месте не окажется, пробирайтесь в город. Вот вам адрес сапожника. Пароль тот же. Лады?

Он сказал не «ясно», а «лады», и от этого невоенного слова у Нечаева как-то потеплело на сердце.

— Николай Сергеевич, а вы ничего не хотите им сказать?

— Нет, — конструктор замотал головой. О чем еще говорить? Поздно...

— Тогда все, едем, — капитан-лейтенант поднялся.

Машина уже ждала их. Устроились на тюках со снаряжением. Капитан-лейтенант что-то сказал часовому, и тот открыл ворота.

Резкий лунный свет выбелил дорогу, на которую от деревьев и заборов ложились четкие тени. Машину

перекашивало и бросало из стороны в сторону. Слышно было, как пусто гудят телеграфные столбы. Хотелось курить, но папирос не было — капитан-лейтенант отобрал их вместе со спичками фабрики «Кастрычник», вместе со значками ГТО и «Ворошиловский стрелок», фотографиями и документами.

Ехали быстро. Но их то и дело останавливали патрули. И тогда острые лучи карманных фонариков напряженно ощупывали их лица, слепили глаза. А когда фонарики гасли и люди с винтовками отступали в темноту, машина снова набирала скорость.

Вскоре тенистые усадьбы Большого Фонтана остались позади, и машину плотно обступили дома. Улицы были темными, глубокими. Город отдыхал от жары, от вражеской авиации и артобстрелов.

Затем машина нырнула под виадук. К порту вел крутой спуск, мощный булыжником. Часовой поднял шлагбаум, и машина легко покатила по глади портового причала.

Этой ночью в порту теснилось множество судов. Были тут и боевые корабли, и транспорты. А когда машина въехала на Карантинный мол, Нечаев, взглядевшись, увидел подводную лодку, которая была темнее воды и неба.

Затем он разглядел на палубе лодки два длинных металлических цилиндра и понял, что в них находятся торпеды, которые, очевидно, привезли раньше.

На моле не было ни души.

Капитан-лейтенант, ехавший в кабине, велел снять с машины снаряжение. Он все время посматривал на часы, и было ясно, что он кого-то ждет. И точно, вскоре появилась «эмка». Тогда капитан-лейтенант одернул китель и расправил плечи.

Из «эмки», которая остановилась рядом с полотор-

кой, выбрался высокий человек в черном реглане. Капитан-лейтенант поднес руку к козырьку фуражки.

— Твои люди? — спросил у него человек в реглане. — А где конструктор?

— Остался на базе.

— Мог бы и приехать. Это ты распорядился так?

— Я, товарищ генерал.

— Ну ладно, — человек в реглане повернулся к Нечаеву и его друзьям. — Здравствуйте, товарищи.

Они ответили на приветствие тихо, но отчетливо, как полагалось по уставу. И замерли, вытянув руки по швам.

— Надеюсь на вас, моряки, — снова сказал человек в реглане. — Вся Одесса на вас надеется. Есть ли у вас какая-нибудь просьба? Не стесняйтесь.

— Люди проинструктированы, товарищ генерал, — капитан-лейтенант снова выступил вперед.

— Знаю, — человек в реглане поморщился. — Но мы с тобой остаемся, тогда как они... Вот я и спрашиваю. Обещаю, что сделаю все, что в моих силах.

— Есть, — Троян вскинул подбородок. — Закурить не найдется, товарищ генерал? У нас табачок отобрали.

— Найдется, — генерал вытащил из кармана коробку «Герцеговины Флор» и протянул ее Трояну.

— Спасибо, — сказал Троян, бережно разминая пальцем толстую папиросу.

— Бери, бери... Потом спасибо скажешь, — генерал держал коробку раскрытой. — И вы берите. Все. Пригодятся...

— Так не полагается, товарищ генерал, — ответил Троян. — Две штуки мы вам оставим.

— Ничего, я у кого-нибудь разживусь. Впрочем, одну я тоже возьму. Покурим, морячки? — он вынул из кармана зажигалку.

— Можно, — Игорек закурил и, сладко жмурясь,

произнес уважительно. — Знатный табачок. Генеральский.

Курили молча, дорожа каждой затяжкой. Наконец генерал тщательно затоптал окурки и сказал:

— Ну, ни пуха...

— К черту, товарищ генерал, — ответил Троян. — Хотя это, быть может, и не по уставу.

Генерал рассмеялся.

Они взвалили на спины тяжелые тюки и зашагали к лодке. Нечаев поднялся на мостик последним. Напоследок оглянулся. Капитан-лейтенант, стоявший рядом с генералом, поднял руку. И Нечаев тоже поднял руку. Прощай, Одесса!

Маленький портовый буксир, отчаянно задыхаясь от черного дыма, открыл перед ними боковую сеть, преграждавшую выход из бухты. Лодка уходила в далекий поход.

За время войны эта лодка уже в шестой раз пересекала Черное море. Пять далеких и трудных походов были за плечами ее молодого командира старшего лейтенанта С. и комиссара — старшего политрука Т.

На корпусе лодки при свете дня можно было увидеть несколько глубоких вмятин. Верхние стекла рулевого телеграфа потрескались от осколков. То были следы вражеских снарядов, боевые отметины... И вот сейчас лодка снова выходила из бухты, чтобы, взяв курс на юго-запад, направиться к далеким вражеским берегам.

Небо и море были в слабом мерцании. Казалось, будто дрожит от напряжения и мерцает сама тишина.

В два часа пятнадцать минут привычные к темноте, по-ястребиному острые глаза сигнальщика заметили на черном, едва приметном горизонте очертания какого-то корабля. В небе торопливо вспыхнули две опознаватель-



ные ракеты. Вздых облегчения: свои!.. Это наш эсминец возвращался на базу после огневого налета на позиции вражеских войск, осаждавших Одессу.

Экипаж лодки поужинал еще в полночь. Люди ели порознь, каждый в своем отсеке, на боевом посту, и теперь кто отдыхал, а кто стоял на вахте. Отсеки были разделены непроницаемыми переборками. Люки закрывались герметически.

Есть у подводников нерушимый закон. В ту секунду, когда глубинная бомба разорвется возле лодки, разорвав обшивку одного из отсеков, в ту секунду, когда в отверстие с грохотом хлынет вода, — никто не бросится к люку, чтобы, спасая собственную жизнь, попытаться проскочить в соседний отсек. С водой не шутят! Спасая себя, ты можешь погубить всех.

Но глухие переборки не разъединяли людей. Ответственность за себя и за товарищей делала каждого сосредоточенным, мудро-спокойным. Опасность? Что ж, если хлынет вода, вахтенные отсека наглухо задрят люк и будут отстаивать свою жизнь внутри этого наглухо закрытого отсека. Так надо! Они пустят сжатый воздух, чтобы постараться задержать воду и попытаться заделать пробоину. Но если это им не удастся, они молча погибнут, как подобает морякам, чтобы ценой своих жизней спасти лодку и товарищей. Так надо. Таков нерушимый закон подводников, закон морского братства.

Но о смерти никто не думал.

Сменялись дни и ночи. Пересекая море, лодка шла под перископом. Она всплывала только по ночам. И то лишь на несколько часов, необходимых для того, чтобы зарядить аккумуляторную батарею. В перископ видна была бесконечная вода. Волны перекачивались через перископ, закрывали горизонт непроницаемой зеленью. Но через мгновение в поле зрения снова возникали бе-

лые барашки — море было пустынно той зловещей пустынностью, которая постоянно напоминает об опасности.

Внизу, в крохотной штурманской каюте-клетушке, горбился над широкой навигационной картой, свисавшей со столика, хмурый штурман. Лодка должна была выйти к берегу в точно назначенном месте и точно в срок. Оттого штурман и не разгибал спины. Только когда командир, в который раз уже подняв перископ, приказал записать в вахтенный журнал одну-единственную короткую фразу «Прямо по курсу берег», штурман смог наконец отложить карандаш. Как он ждал этих слов!

Берег, чужой берег...

Он стлался над линией горизонта едва заметной темной полоской. Лодка подошла к нему близко, гораздо ближе, чем могли предполагать наблюдатели береговых батарей и курсирующих вдоль берега немецких самолетов. И в этой дерзкой близости от берега, почти вплотную к нему, экипаж лодки приступил к выполнению боевого задания. Что это, разведка бухт и заливов? А может, наблюдение за кораблями противника?.. Об этом люди могли только догадываться. Но они, естественно, не могли не думать о том, что творится на чужом берегу.

А берег был совсем близко. Склоны гор, покрытые виноградниками, деревья, нагромождения каменных глыб, прилепившиеся к скалам домишки. Лодка осторожно всплыла только после того, как сгустилась темнота и на берегу замигали огоньки. С мостика лодки уже можно было разглядеть вражеские корабли.

И вдруг — прожекторы, грохот...

Пришлось уйти на большую глубину, двигаться медленно, вслепую — о том, чтобы всплыть хотя бы под перископ, не могло быть речи. В отсеках стало душно. Но эти часы глубокого погружения были для всех и

часами отдыха. На лодке царила полная тишина. Люди старались меньше говорить и двигаться — берегли кислород. Теснота, все заполнено десятками приборов, все рассчитано на сантиметры, и нельзя сделать лишнего шага, лишнего движения...

Наконец в кают-компанию вошел командир. Он присел к столу и жадными глотками выпил кофе.

— Вырвались, — сказал он с облегчением. — Нам и на этот раз удалось уйти.

Чего стоило это признание!.. Командир мгновенно заснул тут же за столом. Он спал, уронив голову на руки, и матросы осторожно, чтобы не задеть, не потревожить, проходили мимо него на вахту.

А когда рассвело, лодка уже снова была в открытом море. Берега не видно, и вахтенный командир тщательно обшаривал глазами горизонт. Через некоторое время он доложил:

— На горизонте силуэт корабля!

— Запишите в вахтенный журнал, — сказал командир лодки. — Вспомогательное судно. — Потом он скомандовал: — Право на борт. Курс триста пять!

Лодка, прибавив ход, резко изменила курс. Командир, который успел отдохнуть, теперь не покидал центральный пост. Встреча с противником не входила в его планы. В другое время он приказал бы приготовиться к всплытию и орудийный расчет занял бы свои места. Но теперь... Лодка получила особое задание. И командир решительно приказал:

— Срочное погружение!

Вахтенные, которые были наверху, скользнув на руках, мгновенно скатились вниз. Звенел сигнал погружения. Стрелка глубиномера стремительно падала, прыгала с цифры на цифру. 5 — 10 — 15 — 20 метров... Лица вахтенных были напряжены.

Так прошло минут тридцать-сорок. Сердце стучало

часто и громко. Нет, не заметили... Выждав еще какое-то время, лодка осторожно всплыла. Вода дошла до мостика, покинула его, и командир открыл над своей головой тяжелый люк.

Над ним было ночное небо.

В тесном узком отсеке не было ни теплых вечерних сумерек, ни прохладных рассветов. Здесь день ничем не отличался от ночи — во все щели проникал ровный электрический свет.

Счет времени шел только на часы. Стрелки уже много раз обежали круглый циферблат с двадцатью четырьмя делениями, и казалось, будто они мечутся в поисках выхода.

Часы висели над головой, под самым подолоком.

Когда появлялся вахтенный, то было видно, как в соседнем шестом отсеке колдуют электрики. Рабочая дрожь моторов передавалась переборкам, тарелкам, рукам... Вахтенный гремел посудой. Хотя его подмывало спросить, что эти четверо поделявают на борту, он, памятуя наказ командира, ограничивался тем, что подмигивал Гришке Трояну, которого, очевидно, принимал за старшего.

Но вахтенный скоро уходил, и они снова надолго оставались вчетвером: Нечаев, веснушчатый Игорек, Гришка Троян и Сеня-Сенечка. Тюки со снаряжением лежали тут же.

«Де твоего момиче?»

Если бы Нечаев знал!.. Аннушка была далеко. Он видел ее такой, какой она была в последний предвоенный вечер, когда щеголяла в его бескозырке, и не мог представить себе, что она может быть какой-то другой. Он старался не думать о войне, которая была вокруг. Мыслями он все время возвращался в прошлое, но па-

мать его была не в ладах с хронологией, и он видел то Аннушку, то мать, то Гасовского и Белкина, продолжавших воевать за Пересыпью, то дружков с улицы Пастера (где они теперь?), то Костю Арабаджи, которого он должен был все-таки разбудить... Он знал, что Костя ему никогда не простит этого. Увидев утром пустые койки, тот наверняка психанул. С каких это пор, спрашивается, ему перестали доверять?

Думая о них, Нечаев видел их всех так ясно, словно они были рядом, в этом же отсеке. Они были ему очень дороги, он только сейчас понял это. А люди, которые тебе дороги, всегда с тобой.

Ему было двадцать лет. Школа, пионерский галстук, «милая картошка», которой низко бьют челом, водная станция, служба... Через два месяца ему стукнет двадцать один. А там... Но, думая о будущем, он все равно видел себя в нем таким, каким был сейчас. Но до этого будущего надо было еще дожить. Война была беспощадна, она не знала жалости. Впрочем, за эти месяцы он успел привыкнуть и притерпеться к ней. Что ж, не он первый воюет и не он последний...

Точнее, однако, было бы сказать, что он не только притерпелся к войне, но что она как бы стала его жизнью. Он даже не заметил, как это произошло. Он уже не мыслил себя вне войны, вне этой новой жизни, а жизнь, как известно, принимаешь такой, какая она есть. Поэтому он не думал об опасности, которая его ждет. Разве в окопах было легче? Или в разведке?

О чем только не думаешь на жесткой койке, когда слышно, как за обшивкой тяжело ворочается море.

Он, разумеется, знал, что существуют такие гордые слова, как подвиг и героизм, но ему не приходило в голову, что они могут иметь отношение к нему самому и к его друзьям. Героями были челюскинцы, дрейфовавшие на шаткой льдине, и летчики, спасшие этих челюс-

кинцев. Героями были моряки с теплохода «Комсомол», которых по возвращении из Испании вся Одесса встречала цветами. А он... Он, Нечаев, мог только стоять на тротуаре и смотреть на героев издали.

Это не значит, конечно, что он никогда не мечтал о подвигах. В детстве ему хотелось быть и Кожаным Чулком, и Айвенго, и партизанским вожаком Сандино из далекого Никарагуа, о котором писали в газетах, и Чапаевым... Тогда ему казалось, будто Никарагуа и сказочная страна Атлантида лежат где-то сразу за Воронцовским маяком. Но когда живешь в портовом городе и каждый день видишь людей в пропотевших робах, то начинаешь понимать, что книжная морская романтика не имеет ничего общего с соленой морской работой и что прежде, чем стать Берингом, надо долго-долго лазать по вантам и драить медяшки.

Поняв это, он забросил в чулан комплекты «Всемирного следопыта», которыми раньше дорожил. Было стыдно мечтать о подвигах на мягкой тахте и грызть при этом яблоки.

Уже в первый день пребывания на лодке он успел вдоль и поперек исколесить свое прошлое и решил больше к нему не возвращаться. К чему? Только расстроишься. Прошлое казалось ему призrachным. Сейчас реальностью был только душный отсек, и часы над головой, и хриплый голос Гришки Трояна, и торопливо-вкрадчивый шепоток Игорька. Оттого он даже не стал читать «Комедию любви» Генрика Ибсена, которая попалась ему под руку. Жизнь, которая была в этой книге, тоже была далека от реальности. Без этой комедии он мог обойтись.

Не мог он только без друзей.

Оттого ему не хватало и Гасовского, и Кости Арабджи. Не потому ли, что все самое главное в жизни было связано с ними? Говорят же, что надо съесть пуд

соли, чтобы узнать человека. А они достаточно нахлебались соленой водицы. И в море, и в Одесских лиманах. И об этом нельзя было забыть.

Лампочки горели не в полную силу, но их свет равномерно распределялся по всему отсеку и поэтому казался ярким и белым. Он давил на веки, заливал глаза, как это бывает, когда лежишь под солнцем на берегу моря. Нечаев не знал, что происходит в других отсеках, не имел понятия, где находится лодка, но ему было ясно, что она идет по заданному курсу — туда, где лежит чужой берег, на котором, если обстоятельства вынудят к этому, они должны будут отыскать какого-то старичка и спросить у него: «Де твоего момиче?», словно он и не старик вовсе, а юноша, у которого непременно должна быть девушка. «Момиче» — по-болгарски — «девушка». Это объяснил Нечаеву Гришка Троян.

Обо всем было уже передумано и переговорено. Оставалось ждать.

Нечаев не жалел, что взял себе в напарники Сеню-Сенечку. На него он всегда мог положиться, Сеня-Сенечка все делал основательно, добротнo. Стоило ему взять в руки «шведа» (так любовно он называл гаечный ключ), как Сеня-Сенечка словно бы становился другим человеком. Недаром сам Николай Сергеевич величал его по имени-отчеству.

А как он пел, этот застенчивый с виду паренек! Тихо, чуть-чуть раскачиваясь. Про вишневые садки и зеленые гай-дубравы, про ставки и полноводный Днипро. Песен он знал великое множество. Мать научила. У них, оказывается, все село голосистое. Молодайки как вертаются с поля, так обязательно поют... Всю душу выворачивало. Солнце садится в пыль, отара бредет по дороге, а они... Да что говорить!..

Он вздыхал, уходил в себя, в воспоминания, но, когда его просили, снова начинал напевать, теперь уже про

море — Игорек требовал только про море. Игорек был родом из Сибири, но до призыва плавал на теплоходе и считал себя чуть ли не потомственным моряком.

— Ты кем будешь после войны? — спросил он как-то Нечаева. — Я в мореходку поступлю. Решено. Знаешь, какая Атлантика? Простор! Теплоход неделю идет, вторую, а вокруг все вода, вода...

После войны! Нечаев подумал, что войне тоже ни конца ни края.

— Будет вам, — сказал Гришка Троян. — Кажись, завтрак несут.

Он оглянулся и увидел вахтенного, который втиснулся в отсек. Но на этот раз у того подноса не было.

— Командир вызывает, — сказал вахтенный, и его голос показался Нечаеву торжественно-громким.

— Есть явиться к командиру! — ответил за всех Троян.



...Войска, действующие в районе Днепра и Киева, требуют в среднем 30 эшелонов в день (боеприпасы, горючее). В первую очередь необходимо как можно скорее доставить для 11-й и 17-й армий в Одессу и Херсон 15 000 тонн боеприпасов, 15 000 тонн продовольствия, 7000 тонн горючего. Эти грузы должны быть доставлены в течение десяти дней после занятия Одессы. В портах Варна и Бургас на кораблях имеется 65 000 тонн боеприпасов и продовольствия.

*(Из дневника начальника  
генштаба сухопутных сил  
вермахта Ф. Гальдера)*

## Глава восьмая

### АТАКА

Командир лодки не отходил от перископа. Справа поднимался скалистый силуэт мыса Калиакра, того самого, у которого полтора века тому назад адмирал Ушаков разгромил турецкий флот, левее белел крутой берег города Балчик, а спустя некоторое время к югу от него открылся вид на древний Одесс — нынешнюю Варну.

— В шести кабельтовых \* скала, — сказал командир. — Запомните это место.

Черная скала была похожа

---

\* Кабельтов — 185,2 метра.  
Морская единица длины.

на скошенный пиратский парус. Она одиноко и гордо стояла в море. За ней, в некотором отдалении, по-весеннему молодо зеленел берег.

Троян, Сеня-Сенечка, Игорек и Нечаев по очереди прильнули к окулярам перископа. Скала была отличным ориентиром, который не спутаешь с другими. Даже ночью.

— Смотрите внимательно.

За скалой в море выдавался песчаный мысок. Берег над ним был крут. По склонам почти к самой воде сползали виноградники. Пустынные места, безлюдье... Лишь левее, ближе к городу, под деревьями тут и там виднелись словно бы игрушечные домики. В их окнах плавило солнце.

— Запомнили? — снова спросил командир лодки и, плечом отодвинув Нечаева, плавно, обеими руками повернул перископ. Его интересовала бухта.

Над нею висело низкое небо. Дымили танкеры и сторожевики, дымили эсминцы. На рейде было тесно — казалось, будто суда стоят борт к борту. Между ними сновали быстрые катера.

— Копошатся, — сказал Троян, до которого снова дошла очередь глянуть в перископ. — Веселая у них там житуха.

Командир кивнул. Разумеется, немцев до сих пор никто не беспокоил. Приказав переключить двигатели на самый малый ход, командир лодки уступил свое место помощнику. Лицо у командира было усталое, серое.

Его запавшие глаза покраснели.

— Пошли!

Когда они вслед за командиром вошли в пустую кают-компанию, тот повернулся к вахтенному и приказал:

— Никого не впускать!

Потом, тяжело опустившись на стул, он снял пилот-

ку и совсем по-детски потер кулаками глаза. С минуту он молчал, прислушиваясь к неясным звукам, царапавшим обшивку. Но вот все стихло.

— Присаживайтесь, — сказал командир, почти не разжимая рта. — Будем ждать вас обратно от полуночи до двух ноль-ноль. Надеюсь, успеете?

Вопрос был адресован всем, но ответил один Троян. Ответил пожатием плеч. Дескать, там видно будет.

— А не успеете... Тогда придется торпеды затопить. Обязательно. До берега доберетесь вплавь. Пароль... — он замолчал, поднял глаза на Трояна.

— Ясно, — сказал Троян.

— Вторая лодка придет за вами через четверо суток. В то же время. Думаю, что шлюпку вы раздобудете. Старик поможет. А теперь — отдыхать. Да, чуть было не забыл. Вот деньги. По десять левов на брата. Больше, к сожалению, раздобыть в одесском банке не удалось. Возьмите, могут пригодиться.

Он говорил отрывисто, не поднимая глаз. Видимо, каждое слово причиняло ему боль. Что он еще мог сказать? В ободрении они не нуждались. А в советах и подавно. Нет рецептов на все случаи жизни. Эти ребята знали, на что идут.

— Лучше бы они негодились, — сказал Троян.

— Конечно, — командир кивнул.

— Знаем, валюту надо беречь, — сказал Игорек, который до войны несколько раз ходил на теплоходе в загранку. И всем почему-то стало весело. Валюту надо беречь. А жизнь?..

Было темно, когда лодка осторожно всплыла под перископ. Командир прильнул к окулярам. Потом, когда рубка лодки поднялась над водой и открылся тяжелый люк, они один за другим выбрались на мокрую палубу.

Море было почти спокойно, только ветер сдувал с него легкую пену.

Первым делом они извлекли из металлических цилиндров обе торпеды и тщательно, придирчиво осмотрели их. Затем раскрыли тюки со снаряжением. Не прошло и четверти часа, как все они были в резиновых масках: кислорода в баллонах должно было хватить примерно на пять часов.

Оседлав своего «Дельфина», Нечаев сунул ноги в стремя и откинулся к спинке, ожидая, чтобы уселся Сеня-Сенечка. Подумал, что со стороны они наверняка похожи на мотоциклистов — циркачей, готовящихся к гонкам по вертикальной стене. На афишах такой номер обязательно называли «смертельным». А теперь... Не было ни зрителей, ни шпехшталмейстера в безукоризненно сшитом фраке, который выходит на арену и объявляет зычным голосом: «Мир-ро-вой ат-трак-цион!.. Впервые...» Но тут Сеня-Сенечка слегка похлопал его по плечу, и Нечаев положил руку на рычаг. Сигнал означал: «Давай!..»

Оба «Дельфина» отошли от лодки почти бесшумно и легли на курс. Их словно бы притягивали к себе далекие огни варненского порта. Шли параллельно берегу.

Давно Нечаев не видел столько огней. Они сверкали переливались. Даже небо над городом и бухтой было вызолочено жаром. Как будто и не было войны... Но тогда почему у входа в порт снуют катера? И зачем они то и дело сбрасывают глубинные бомбы?..

Война была и здесь, под этим веселым золотистым небом. Она напоминала о себе снова и снова.

Нечаев старался не потерять из виду Игорьька и Трояна, головы которых то и дело пропадали в волнах. Его «Дельфин» шел почти по самой поверхности моря — вода достигала Нечаеву только до пояса — отстав от первой торпеды на несколько десятков метров.

Потом у Нечаева появилась новая забота. Патрульные катера! Но встречи с ними ему удалось избежать. Стоило Нечаеву нажать на рукоятку, как «Дельфин» послушно погрузился под воду. Пять метров, восемь метров, десять... Ориентируясь по компасу, Нечаев направил торпеду туда, где, по его расчетам, должен был находиться вход в порт. Не напороться бы только на мину! А сетевое ограждение они преодолеют, должны преодолеть...

Он знал, что порт имеет два входа. Левый был постоянно прегражден бонами, сетями и минами. Второй, правый, находился под неослабным наблюдением. Это возле него патрулировали быстроходные катера. Это его освещали лучи прожекторов, которые тщательно, метр за метром, ощупывали море, выхватывая из темноты то рыболовные сейнеры, неподвижно застывшие на внешнем рейде, то сторожевые катера. И хотя Нечаеву хотелось темноты, он все же направил «Дельфина» вправо. Лучше прожекторы, чем мины. Если поцелуешься с такой холодной дурой — сразу пойдешь ко дну.

Мины... Он вспомнил, что Николай Сергеевич о них предупреждал. Немецкие «теллерминен» были похожи на диски, насаженные на металлические штанги. Один, в десятке метров от него второй, а там и третий диск, и четвертый... И еще Николай Сергеевич говорил о береговых минах «иерстен» типа А. Подплыви поближе, и сразу обнаружишь взрыватель. Но он, Нечаев, нелюбопытен. «Приятно было познакомиться издали», — как сказал бы Костя Арабаджи.

Ему опять вспомнился Костя Арабаджи. Не потому ли, что он, Нечаев, чувствовал свою вину перед ним? Тот, конечно, ему никогда не простит, что он взял себе в напарники Сеню-Сенечку. И того, что он не попрощался с ним, Костя тоже ему не простит. Он обидчив, это все знают. Но «шутки в стороны», как опять-таки

сказал бы Костя Арабаджи. Нечаев подумал, что Гришка Троян не теряет времени даром и что ему тоже надо спешить.

Плотная темнота подводного мира давила на плечи, прижимала к седлу. Вода холодила грудь. Но Нечаев почти не чувствовал этого. Перед ним вкрадчиво светились циферблаты приборов. Длинное тело «Дельфина» была мелкая дрожь. И надо было следить в оба.

Сторожевые катера остались позади.

А вот и сеть! Так близко, что ее можно потрогать. Осветив сеть фонариком, Нечаев подумал, что им и тут повезло. Это была довольно редкая противолодочная сеть. А что торпеда по сравнению с подводной лодкой? Иголка. «Дельфин» проскочит за милую душу.

По ту сторону сети, в порту, Нечаев снова посмотрел на часы. Пора, надо всплывать. Игорек и Троян, конечно, уже проскочили. Они всплывут ровно в 22 часа 45 минут. Так было условлено.

Когда голова Нечаева показалась над водой, он смог осмотреться.

Гришки Трояна, однако, видно не было. И куда его занесло с Игоречком?

Над ним нависла высокая корма какого-то судна. В сотне метров от него темнел силуэт второго транспорта. Длинный, угольно-черный. Прячась за бочкой, на которую была заведена якорная цепь, Нечаев с трудом прочел надпись на рубке транспорта: «Родопы». Есть такие горы на Балканах, это он помнил еще со школьных лет. Ему подумалось, что и транспорт напоминает гору.

Освещенные иллюминаторы транспорта отражались в маслянисто-черной воде.

На глаз прикинув водоизмещение транспорта, Нечаев сказал себе, что тот имеет не меньше двадцати тысяч тонн. И сразу зажмурился, втянул голову в плечи.

На какое-то мгновение его ослепил береговой прожектор. Неужто заметили? Показалось, будто не невесомый луч, а тяжелое бревно опустили ему на голову, оглушили его.

Но уже в следующее мгновение луч прожектора уперся в борт транспорта, и ночь вокруг Нечаева стала еще темнее. Пронесло! Постепенно его глаза снова свыклись с темнотой.

Но Игорька и Трояна он не увидел. Ни за этим транспортом, ни за другим, стоявшим в отдалении. Куда их занесло?

«Дельфин» шел почти бесшумно. Почувствовав на своем плече руку Сени-Сенечки, Нечаев оглянулся. Что случилось? Сеня-Сенечка показал на транспорт. Вот, мол, подходящая цель. Но Нечаев покачал головой.

Кто знает, что в трюмах этих самых «Родопов»? Где гарантия, что там снаряды, а не консервы? Он не мог рисковать. Уж если шарахнуть, то шарахнуть. Чтоб небу жарко стало.

Лучше всего было подложить взрывчатку под какой-нибудь танкер. Горящая нефть разольется тогда по всей бухте, огонь перекинется на транспорты. Только как определить в темноте, что перед тобою груженный танкер? Времени мало, почти в обрез.

Ему захотелось как можно скорее избавиться от взрывчатки и убраться из порта подобру-поздорову. Сеня-Сенечка тоже не понимает, отчего он медлит. Однако он заставил себя не спешить. Не для того они забрались в это пекло, чтобы устроить холодный фейерверк. Он уже знал, что немцев на испуг не возьмешь. Их надо было бить в самое сердце.

Итак, им нужен танкер, только танкер.

И он нашел то, что искал. Сомнений быть не могло. Еще одно движение рукоятки, и «Дельфин» послушно

уходит под воду. Повернувшись к Сене-Сенечке, Нечаев подал знак: «Начинаем!»

Киль танкера почти достигал илистого дна. То была старая посудина, которая, надо думать, прошла многие тысячи миль по морям-океанам. Сколько пакости было на ее крутых боках! Нечаев понял, что придется расчистить место для магнитов. Ничего не попишешь!..

Они приступили к работе. Не спеша прикрепили к корпусу танкера оба подковообразных магнита, привязали к ним кожаные ремни. Холодный пот заливал Нечаеву глаза. Он чувствовал, как стучит кровь в висках. Лишь кислород, поступавший из баллонов, освежал его, а сознание, что все идет как надо, прибавляло ему сил. Он еще никогда не был таким спокойно-расчетливым.

Теперь надо было поставить торпеду так, чтобы зарядное отделение «Дельфина» пришлось против магнитов. Ремни они пропустят через скобу. Потом... Потом Сеня-Сенечка заведет механизм взрывателя, зарядное отделение с взрывчаткой останется под днищем танкера, а они сами на облегченном «Дельфине» отойдут подальше и постараются выбраться из порта, и ровно через два часа, когда они будут уже далеко, в безопасности, сработает часовой механизм...

Сеня-Сенечка поднял руку. Порядок! Теперь можно было перевести дух. Они снова взобрались на своего верного «Дельфина», и Нечаев, нажав на рычаг, отделил носовую часть торпеды со взрывчаткой от ее корпуса. На какое-то мгновение облегченный «Дельфин» потерял равновесие, его качнуло, но Нечаев тут же дал ему шенкеля, и он покорился ему. Двести килограммов взрывчатки остались под брюхом обреченного судна.

«Физкультпривет!» — как сказал бы Костя Арабаджи.

Теперь надо было уходить.

От сознания, что дело сделано, Нечаеву стало весе-



ло. Показалось, будто и дышится легче. Дело сделано! Но плясать было еще рано. Выберись-ка раньше из мышеловки порта и доберись до подводной лодки. Хватит ли тебе кислорода? Должно хватить. «С возвращением!» — скажет командир лодки и прикажет задрать люк. Вот тогда они и отпразднуют свою удачу. В кают-компании. Все вместе. Нечаев, Сеня-Сенечка, Игорек и Троян...

Троян!.. Он снова подумал о нем. Где они сейчас, Игорек и Троян? Беспокойство сменилось надеждой, надежда — уверенностью. Все будет хорошо. А как же иначе? Но потом к горлу снова подступила тревога.

Она усиливалась оттого, что пора было возвращаться. До лодки им плыть и плыть. А кислород... Он снова с беспокойством подумал о кислороде.

Направив торпеду к выходу из порта, он резко потянул рукоятку на себя, и «Дельфин» чуть было не выскочил из воды. Вот черт! «Легче на поворотах», — как сказал бы Костя Арабаджи. Нечаев укротил «Дельфина» и осмотрелся.

В порту творилось что-то неладное. Прожекторы, глубинные бомбы... Вокруг Нечаева вода была черным-черна — прожекторы бесновались в другом конце бухты, — и он успокоился. Но тут его обожгло: «Троян! Там ведь Гришка Троян!..»

«Эх, Троян, Троян, морская твоя душа!.. И угораздило тебя попасть в лапы прожекторов. Гансы теперь не успокоятся до тех пор, пока тебя не доконают. Троян, Троян...»

Следующей его мыслью было, что надо идти на выручку. Не могут они оставить друзей в беде. Но приказ... Холодные, жесткие слова приказа вспомнились ему. У той войны, которую они вели теперь, были свои законы. Приказ! Прежде всего он должен выполнить

этот приказ. Хотя, быть может, потом он себе этого никогда не простит.

Он озяб. Появилось такое чувство, словно на нем не комбинезон, а ледяной панцирь. Рука тоже онемела, и он с трудом заставил ее нажать на рычаг. Вперед!

Он заметил трос, поддерживавший заградительную сеть. В порту не прекращалась суматоха. Прощай, Троян! Торпеда погрузилась, ушла на глубину. Вокруг было темно и холодно. Лишь после того, как сеть осталась позади, Нечаев заставил своего «Дельфина» всплыть.

Они были в открытом море.

Мрачное небо припадало к воде, которую вспучивал ветер. Зарево над портом и огненные всполохи остались позади.

Нечаев посмотрел на часы.

Было начало второго. Хотя бы лодка задержалась, иначе...

Подумав об этом, он вздрогнул. Не может быть, чтобы лодка их не дождалась. Надо успеть!

«Дельфин» дрожал от напряжения. Нечаев выжимал из него все, что мог. Только бы успеть!.. А сам думал о Гришке, который мечется в мышеловке порта. Ему хотелось верить, что Гришка вывернется, уйдет. Ведь бывают же чудеса на свете. А Гришка и не в таких переделках бывал.

У него возникло желание сорвать маску и подставить ветру лицо. Но только об этом пока не могло быть речи. Кто знает, а вдруг снова придется уйти на глубину? Но главное — успеть. В висках снова стучала кровь. Сильно и громко.

Но лодки на месте не оказалось.

Ушла! Его охватило отчаяние. Он посмотрел на часы. Без десяти два. Как же так? Не могла лодка уйти раньше срока. Да, но катера... Он совсем забыл про ка-

тера. Видимо, катера обнаружили лодку и заставили ее уйти. И теперь...

Теперь надо было ждать четверо суток. Он знал, что вторая лодка непременно придет. Но надо было ее дожидаться!..

Четверо суток! Он подумал об этом так, словно ему предстояло прожить четыре жизни. Эти четверо суток равнялись вечности. Но другого выхода не было. Ждать, ждать... «Де твоего момиче?» — пароль вспыхнул перед ним огненными буквами. Он произнесет пароль, и старик сторож ответит: «Легна сп вече, аго». Так будет. Совсем скоро, когда они со Шкляром выберутся на берег...

Он посмотрел на Сеню-Сенечку. Шкляр, казалось, дремал. Тогда Нечаев направил торпеду к скале «Парус», которая темнела впереди.

У скалы они сорвали с себя маски, сняли комбинезоны и тяжелые башмаки. Все доспехи вместе с торпедой надо было пустить ко дну. Согласно приказу.

Это отняло немало времени. Снаряжение привязали к торпедке. Когда она скрылась под водой — место было глубокое, — Нечаев и Сеня-Сенечка пустились вплавь. До берега от скалы было метров шестьсот, не меньше.

Вдруг в той стороне, в которой был порт, небо вспыхнуло, поднялось высоко, а потом сразу провисло, став дымно-красным. Там взметнулся высокий огненный столб. И только потом уже один за другим раздались два взрыва.

Перевернувшись на спину, Шкляр спросил:

— А второй откуда?

— Гришкина работа, — ответил Нечаев, который плыл рядом. — Жалко ребят.

— Погоди их хоронить, — хрипло сказал Шкляр.

Судам, находившимся в порту Варна, злоумышленниками нанесен значительный ущерб. Проявлено легкомыслие, выразившееся в недооценке возможностей противника... Необходимо усилить оборону, поднять ответственность... Порты Варна и Бургас в высшей степени необходимы нашему флоту.

*(Из докладной записки  
немецкого адмирала Шивинда)*

## **Глава девятая**

### **НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ**

На берегу крепко пахло водорослями. Узкая полоска песка белела в ночи ледяным припаем. За нею громоздились глыбы темных камней. Ночью сильно похолодало, и камни были влажными, скользкими. Они отливали мертвым блеском.

У Нечаева не попадал зуб на зуб. Выйдя из воды, он пригнулся и побежал к камням. Глухая темнота, которая залегла между скалами, и страшила и притягивала его. Что в ней? Она могла ударить в лицо огнем, но могла и укрыть от опасности. На прибрежном песке Нечаев чувствовал себя беззащитным. Ведь у него даже пистолета не было.

Он сжимал рукоятку ножа.

Темнота шелестела осыпями,

трещала палым листом. Но звуки не сливались в просторный широкий шум, как это бывает в глубине леса. Каждый шорох, каждый тревожный хруст существовал как бы сам по себе и слышался громко, отчетливо. Оттого все звуки были какими-то жесткими и проридали по коже.

Но тут же он подумал, что это, наверное, холод. Они со Шклярём слишком долго пробыли в осенней воде, слишком долго.

Добравшись до камней, он внезапно почувствовал за спиной пустоту и, вздрогнув, оглянулся. Сени-Сенечки не было. Шкляр!

Он готов был закричать. Тревога швырнула его на землю. Скользя по камням, он стал снова спускаться к морю. Шкляр!.. Ноги, не находя опоры, срывались с камней. Он разодрал колени в кровь, но не чувствовал боли. Шкляр!

Он чуть не задохнулся от неожиданности и обиды. Сеня-Сенечка сидел на корточках. Казалось, он что-то ищет на песке. Нашел время!

— Ты что?

— Следы, — Сеня-Сенечка не повернул головы.

Теперь и Нечаев их увидел, эти следы. Глубокие, отчетливые. Подумалось: «Все — хана!» Он нагнулся, чтобы разглядеть их поближе, и у него отлегло от сердца: это были их собственные следы.

— Знаю, — кивнул Сеня-Сенечка, продолжая разравнивать песок.

— Их волна смоеет.

— Нельзя. Могут обнаружить.

— Тогда быстрее. Я помогу.

Сеня-Сенечка не ответил. Он привык все делать обстоятельно. Вот теперь, кажется, действительно все... Комар носа не подточит. Догнав Нечаева, он тоже нырнул в темноту.

Подъем был крут, почти отвесен. Они поднимались медленно, цепляясь за кустарники и корневища. Старались не шуметь. Потом, выбравшись из расселины, они поползли к винограднику. Здесь твердая земля была в трещинах. На ней вкривь и вкось стояли деревянные столбики, поддерживавшие ржавую проволоку. Раскачиваясь на ветру, проволока слабо гудела.

Нечаев приподнял голову.

Море, шумевшее внизу, под обрывом, звало его обратно: вернись! Даже здесь, в сотнях миль от дома, оно оставалось все тем же ласковым и добрым Черным морем, которое он знал и любил с детства. Темное, зыбкое, оно даже в штормовую погоду было его союзником и другом, тогда как гулкая каменистая земля, на которой он сейчас лежал, была ему чужой, враждебной. Чужая земля... Даже запах у нее был какой-то другой, незнакомый... Самое скудное степное побережье где-нибудь под Одессой или Херсоном трогательно пахло чабрецом и полынью, он хорошо помнил это. Те нежные, щемяще-грустные вздохи земли были ему родными. А здесь, среди скал и виноградников, среди все еще по-летнему пышных деревьев, земля пахла прямо и душно. Недаром его отец говорил, что чужой мед всегда горек.

— Ничего не видишь?

— Нет, а что? — Нечаев еще пристальнее взгляделся в темноту.

— Он где-то здесь.

И впрямь шалаш, который они сегодня утром — как давно это было! — разглядывали в перископ, должен быть где-то близко. Они помнили, что шалаш стоял под деревом. Впрочем, они знали и другие приметы. В десяти шагах от этого шалаша стоял сарай с разметанной соломенной крышей и широким навесом для дров, которые заготавливают впрок. Под навесом они

должны были найти колоду, в которую воткнут топор. Если топор на месте — все в порядке. Это значило, что сторож готов принять гостей.

Скала, служившая им ориентиром, уже не была видна. Очевидно, они отклонились вправо: расселина, по которой они поднялись, была кривой.

— Соображаешь? — спросил Нечаев. — Нам надо вон туда... — он кивнул в темноту.

— Ты... уверен?

— Конечно. Еще метров сорок, не больше.

— А мне кажется...

— Шалаш был прямо над скалой, — напомнил Нечаев.

— Ладно, — Сеня-Сенечка не стал спорить.

Они снова поползли, стараясь не задевать за ветки. Ветер слабо шевелил пыльные листья. Нечаев затаил дыхание и прислушался. Ему показалось, будто звякнул колокольчик. А может, послышалось? Но колокольчик звякнул снова, уже отчетливее. И Нечаев плотнее прижался к земле.

Новый порыв ветра принес запах навоза и овечьей шерсти. Сомнений быть не могло, впереди темнела кошара.

«Хоть бы собаки не залаяли», — подумал Нечаев.

Работая локтями, он отполз обратно в листву виноградника. Он представил себе, какой переполох вызвала бы их встреча с чабанами, и зажмурился. Был бы с ними хоть Гришка Троян, чтобы поговорить с чабанами.

О Трояне он подумал с тоской и болью. Эх, Троян, Троян... Ему хотелось верить, что Игорек и Троян путаются. Такой парень, как Троян, не мог погибнуть, не имел права погибнуть... Потом он ужаснулся от сознания, что сам он тоже чуть было не оплошал. Прав был Сеня-Сенечка. Им надо в противоположную сто-

рону. Он посмотрел на Сеню-Сенечку. Тот уже полз в другую сторону, и Нечаев последовал за ним.

Они медленно поднимались по крутому склону горы, вершина которой сливалась с темным небом. Однажды наверху мигнул огонек, но тут же погас. Затем послышался треск мотора — не иначе как какой-то мотоцикл протарахтел по дороге, — и снова тишина стала густой, терпкой.

Только сейчас, когда шум мотоцикла пропал в отдалении, Нечаев подумал, что где-то близко по склону горы проходит дорога, что она петляет, то спускаясь к морю, то поднимаясь вверх. Дорога была чуть ли не за изгородью, к которой они не рисковали приблизиться.

Но потом он увидел, что точно такая же изгородь отделяет этот виноградник от соседнего. Они наткнулись на нее в темноте. Плетень был прикрыт ветками колючего кустарника.

— Перемахнем, — тихо сказал Сеня-Сенечка. — Я первый.

И пропал в темноте.

Выждав минуту, Нечаев тоже приподнялся. Плюхнувшись на землю по ту сторону изгороди, он затаил дыхание. Земля была гулкой.

Потом, отлежавшись, он увидел Сеню-Сенечку, который успел отползти в сторону, и присоединился к нему.

— Смотри.

Раздвинув кусты, Нечаев увидел сарай, отбрасывавший теплую войлочную тень. По ту сторону сарая, то ли на дереве, то ли на столбе висел фонарь.

Рука сжимала нож. Не сговариваясь, Нечаев и Шкляр поползли в разные стороны.

Первым делом Нечаев увидел фонарь, висевший на высоком дуплистом дереве. Это был керосиновый фонарь, и его тихий теплый свет падал на землю, на ша-



лаш, на старую пыльную колоду, лежавшую под навесом, возле которой валялся топор. Перед входом в шалаш была расстелена вытертая овчина.

Старик сторож, должно быть, заждался гостей и сладко спал в своем шалаше. Но топор... Почему топор лежит на земле? Нечаев прислушался. Тишина показалась ему такой враждебной, что сердце зачатило.

По дороге снова протарахтел мотоцикл. Но теперь уже в обратном направлении.

А Нечаев все еще не в силах был оторвать глаз от топора, лежавшего на земле.

Когда Шкляр подполз, Нечаев сказал:

— Видишь? Что-то случилось.

— Все равно, — тихо произнес Сеня-Сенечка. — У нас нет другого выхода...

Он был прав. Деваться некуда. Надо заглянуть в шалаш. Может, старик ошибся или позабыл про топор? Ну а если там засада, то... Один черт. Где наша не пропадала.

— Хорошо, — выдохнул Нечаев.

Он поднялся и побежал. Тусклый свет фонаря обжег ему плечи. Потом в лицо ударил крепкий кислый запах овечьей шерсти.

«Де твоего момиче?»

Ему не пришлось спросить об этом. В шалаше все было перевернуто вверх дном. Там уже кто-то побывал. Совсем недавно. И этот «кто-то» наверняка увел с собой хозяина.

Рядом с распоротым тюфяком валялась обрезанная бутылочная тыква, из которой выпали деревянные ложки (хозяин, разумеется, ждал гостей), и лежал черный горшок с остывшей фасолевою похлебкой. У входа Нечаев нашел шерстяные чулки и стоптанную обувь, похожую на лапти.

Выглянув из шалаша, он махнул рукой Сене-Сенечке. Горшок с похлебкой еще хранил тепло костра, который был затоптан. Зола, оставшаяся на месте костра, была мягкая, не успела остыть. Нечаев разгреб ее и увидел красный уголек.

— Надо мотать отсюда, — сказал он. — Я уверен, что они держат шалаш под наблюдением.

— Куда? — спросил Шкляр.

Далеко им не уйти. Хоть бы у старика нашлась какая-нибудь захудалая одежонка. Но в шалаше пусто. А овчину, которая валяется у входа, на себя не напялишь. В ней только детишек пугать.

Они сидели молча, думая об одном и том же. Оставаться в шалаше тоже было рискованно. Те, кто увел старика, могли заявиться снова. А что, если они засели за изгородью?

— Чепуха. Они бы нас уже давно зацапали, — сказал Нечаев.

— И то верно, — кивнул Шкляр, который сидел на тюфяке, обхватив колени руками.

Треск мотоцикла заставил Нечаева выглянуть. Остановится? Нет. Немцы, очевидно, патрулировали на дороге. Или жандармы. Пройдет минут двадцать, и они проедут снова. А потом опять. Так что на дорогу лучше не показываться.

В шалаше было тепло. Нечаев согрелся, размяк. Подумал: «Будь что будет». Задание выполнено, совесть у них чиста. Хотелось растянуться на тюфяке и ни о чем не думать. Двум смертям не бывать.

— Хватит, надо поглядеть на дорогу, — сказал Сень-Сенечка, поднимаясь с тюфяка. — Хорошего понемногу.

Не хватало еще, чтобы он стал уверять, что под лежащий камень вода не течет или что люди — везде люди. Нечаев насупился. Он сам знает, что болгары то-

же славяне. Но они не могут довериться первому встречному.

— Чудак, — сказал Сеня-Сенечка. — Я живым в руки тоже не дамся.

— Ладно, пошли, — согласился Нечаев.

Он выглянул. Никого!.. Тогда он что есть духу побежал к изгороди и залег. За изгородью смутно белела дорога.

— Ну как? — Сеня-Сенечка плюхнулся рядом.

В тишину ворвался треск мотоцикла. Вынырнув из за поворота, он покатил по дороге. За рулем и в коляске сидели солдаты в касках. Двое.

— Немцы, — сказал Нечаев, когда мотоцикл скрылся из глаз. Во рту у него было сухо, язык его не слушался. — Они скоро вернутся.

— Вниз они будут лететь как угорелые.

— Ты хочешь сказать...

— Ага, но где достать веревку? — спросил Сеня-Сенечка.

— Можно протянуть проволоку, — ответил Нечаев. — Тут ее хватает.

Это было первое, что почти одновременно пришло им в голову.

Они отползли от изгороди. В ход пошли ножи. Шкляр отгибал гвозди, а Нечаев срывал проволоку с кольев и наматывал ее на руку.

— Пожалуй, хватит, — сказал Сеня-Сенечка. — Ты прикрепишь ее к изгороди, а я переберусь через дорогу. Залягу вон за тем деревом. Гансов двое и нас двое. Справимся. Только аккуратненько. Иначе хай поднимут, понял?

— Не учи ученого, — ответил Нечаев, словно всю жизнь только этим и занимался.

Он прикрепил проволоку к изгороди напротив того дерева, которое облюбовал Шкляр, и, когда Сеня-Се-

нечка перемахнул через дорогу, растянулся в кювете. Но он не мог совладать со своим нетерпением и сразу же поднял голову.

С трудом он разглядел Сеню-Сенечку, который всем телом прижимался к дереву по ту сторону дороги. А где же проволока? Только нащупав ее рукой, он удостоверился, что она натянута до звона. Ее просто не было видно в темноте.

Он с такой силой сжимал рукоятку ножа, что у него онемели пальцы. Ладонь словно бы прикипела к черенку — не отодрать.

И тут же он услышал торопливый, захлебывающийся треск — мотоцикл несясь вниз, под уклон, и его сердце зачастило в такт мотору. Тонкий светлый луч скользнул по листве и погас. И в ту же секунду мотоцикл выскочил из-за поворота.

Нечаев приготовился к прыжку.

Ему попался хилый, тщедушный немец. Нечаев навалился на него, оглушил и поволок за ноги в сторону. Сбросив солдата в кювет, Нечаев вернулся за автоматом, который остался на дороге. Он успел заметить, что у немца остроносое лицо и влажный рот. Но ему было не до немца.

Шкляр все еще возился со своим немцем, они оба катались по земле, и Нечаев, не выпуская из рук автомата, поспешил к нему. Но, когда он подбежал, Сеня-Сенечка уже поднялся, отряхиваясь. Тяжело дыша, он выдохнул:

— Готов!

Опрокинутый мотоцикл лежал посреди дороги, его колеса пусто вертелись в воздухе, и Сеня-Сенечка включил мотор. Потом он подставил плечо, а Нечаев ухватился за коляску. Взяли...

Они водрузили машину на место.

Нечаев и Шкляр неожиданно для себя набрали на одинокую лесную хибару. Нечаев заглянул в темное оконце, постучал. Никакого ответа. Может, они хоть здесь чем-нибудь разживутся? Он подозвал Сенью-Сенечку, стоявшего за деревом, и тот, побежав к двери, приналег на нее плечом с такой силой, что щеколда выскочила из ржавой скобы.

Изба как изба... В ней было чисто прибрано. Вдоль стен тянулись полки с глиняной посудой. У двери на крюках висели медные котлы. Кровать в углу была покрыта белым одеялом из козьей шерсти. Но видно было, что в этой избе не живут, что сюда наведываются редко. Оттого и еды в избе не было.

Нечаев так умаялся, что тяжело опустился на стул. Деревянный стол был выскоблен добела. Над ним на длинных цепях висела керосиновая лампа. Из мутных окон лился сумрачный лесной свет.

Что делать? Остаться в лесу не имело смысла. Немцы вот-вот начнут его прочесывать. Они, надо думать, уже спохватились... Тогда, быть может, спуститься к дороге? Опасно. Но другого выхода нет. Только на попутной машине они могут добраться до города и разыскать сапожника. Или пешком. Мало ли немецких солдат ходит по дорогам! Их проверять не станут.

Там, в этом незнакомом городе, они должны были разыскать сапожника. Разумеется, если того еще не забрали, как старика сторожа, который должен был их встретить. Впрочем, вернуться в лес они всегда успеют. Запасутся продуктами — на хлеб, надо думать, у них денег хватит, и смотают удочки.

Он решил обследовать карманы своего мундира.

Вывернув их наизнанку, Нечаев разложил на столе все свое трофейное богатство — сигареты, зажигалку, какие-то письма. Да тут и деньги, тридцать левов.

Но Шкляр покачал головой. С тревогой глянув на слегка посветлевшее небо, он сказал:

— Потом покурим. Заводи.

Небо над морем медленно зеленело, обнажив пустынный горизонт, и Нечаев с тоской подумал о том, что где-то там, далеко-далеко, лежит под солнцем его родная земля, тогда как над ним, над горной дорогой и высоким берегом, поросшим пихтами и сосняком, все еще висит ночь.

Выжимая из мотоцикла километр за километром, Нечаев пристально смотрел на дорогу, в то время как Шкляр, сидевший в коляске, держал автомат наготове и ощупывал взглядом каждую изгородь, каждое дерево и каждый куст, которые неслись им навстречу. Опасность была всюду. Она, казалось, была разлита в холодном воздухе.

Дорога, петляя, вела в город. Мотоцикл проскочил через деревянный мостик над мелкой речушкой, промчал мимо какой-то стены. За ним клубилась пыль.

Было заманчиво домчать до самого города. А вдруг проскочат? Но они понимали, что немцы патрулируют все участки дороги. Как бы не нарваться на других мотоциклистов. Те сразу поймут, с кем имеют дело. И тогда... Нет, от мотоцикла придется избавиться.

Сильная рука Шкляра сдвинула Нечаеву плечо, и он резко затормозил. Потом выключил мотор, прислушался. Так и есть, Сеня-Сенечка не ошибся. Мотоцикл. И близко. Нечаев схватил автомат. Пусть только сунутся!

Однако шум мотора стал тише. Мотоцикл отдалялся. Вздохнув с облегчением, Нечаев вытер рукавом взмокший лоб. Они со Шкляром! везучие. Еще сотня-другая метров — и... Он представил себе эту встречу. Только чем бы она кончилась?

В лодке сидел какой-то человек в мягкой фетровой шляпе. Генчо что-то крикнул ему, и человек подвел лодку к берегу.

Вдали, освещенная луной, высилась в море скала, похожая на скошенный парус.

Когда Генчо сел за руль, человек в шляпе приналег на весла. Они то взлетали, то падали, и с них бесшумно стекали в воду лунные капли.

За кормой лодки потянулся длинный светлый след. Теперь только он соединял лодку с отдалявшимся берегом, на котором горели редкие огни.

Было ветрено и тревожно. Когда лодка приблизилась к скале и косая тень накрыла ее, Нечаев и Шкляр стали раздеваться.

Генчо следил за ними молча.

Но тут откуда-то справа донесся торопливый перестук мотора. Сторожевой катер! От мысли, что с катера их могут заметить, Нечаеву стало зябко. И как только луч прожектора лег на воду, Нечаев инстинктивно прыгнул.

Было около полуночи.

— Прыгай!..

Это был голос Сени-Сенечки. Раздался плеск. Раздумывать было некогда. Прощай, Генчо. Прощай, друг!.. Нечаев прыгнул в воду и поплыл не оглядываясь. Только минут через двадцать он разрешил себе оглянуться. Катер уже подходил к лодке. Луч прожектора был коротким и толстым.

Но это было уже далеко позади. Берег, лодка, Генчо, сторожевик... Волна отсекла их от Нечаева навсегда.

Перед ним было море.

Немецкое командование не может мириться с актами диверсии и саботажа, которые, к большому сожалению, в последнее время даже участились. Мы имеем в виду известные факты... И диверсанты, и их пособники должны знать, что их ждет божья кара. Пощады не будет...

*(Из статьи в газете «Заря», 1941)*

## **Глава десятая**

### **ЧЕТВЕРО СУТОК**

Поднялось солнце, туман из сырых ущелий пополз к морю, и стало видно, что скалы покрыты красноватым мхом, и с моря, маслянисто блестящего далеко внизу, задул теплый ветерок, пряно пахнувший знойным югом — сладким полумраком кофеен, ореховой халвой и фениками — запахами, которые Нечаеву были знакомы с детства. Верхушки сосен свежо запламенели.

Хотелось есть. Хоть бы ягода какая попалась на глаза. Нечаев все чаще вспоминал фасолевую похлебку, которую нашел в шалаше. Эх, сюда бы сейчас этот остывший горшок. В карманах его мундира было пусто.

Время близилось к полудню. В лесу становилось душно.

Плутая по горным тропкам,



— Садись, — сказал Нечаев. Ему не терпелось поскорее убраться отсюда.

— В таком виде?

Сеня-Сенечка не раздумывал. Нагнувшись над «своим» немцем, он принялся стягивать с него сапоги.

— Чего стоишь? Помоги...

Вдвоем они быстро раздели немца почти догола. От того разило потом. Чужой едкий запах шибал в нос. И этот мундир придется надеть?

— Давай быстрее, — сказал Сенья-Сенечка.

Им снова пригодилась проволока. Связав немца по рукам и ногам, они отнесли его к изгороди и, раскачав, перебросили через нее. Затем раздели второго немца, лежавшего в кювете, связали и тоже перебросили через изгородь.

— Теперь они не скоро очухаются, — сказал Нечаев.

— Там видно будет, — ответил Сенья-Сенечка.

Ему самому чужой мундир пришелся впору. Только сапоги были великоваты. Затянув ремень с белой бляхой потуже, он повесил себе на шею трофейный «шмайсер».

Нечаев не удержался и фыркнул:

— Шпрехен зи дойч?

— Уволь! — лихо козырнул Сенья-Сенечка. — Что, хорош?

— Вылитый ганс.

— А ты, думаешь, лучше? — Шкляр стал серьезным. — Слушай, а вдруг они очухаются? Давай заткнем им глотки. На всякий случай.

— Можно, — сказал Нечаев.

Сунув руку в карман, он нащупал носовой платок и пачку сигарет, которым обрадовался так, словно это были самые лучшие сигареты в мире. И зажигалка имеется. Красота!

Вполне приличная сумма. И это не считая тех двух монеток, которые зашиты у него в трусах.

— А у тебя сколько?

— Двадцать четыре лева, — ответил Сеня-Сенечка.

— Разделим по-братски.

— Зачем? — Шкляр пожал плечами. — Положь все на место. И письма тоже. Они у тебя в каком кармане были?

— В верхнем. Там, где солдатская книжка.

— Туда и положь.

Но прежде, чем спрятать эту солдатскую книжку, Нечаев развернул ее. Гуго Реслер, как значилось в ней, был родом из Гамбурга. Он тоже родился в двадцатом году. Выходит, ровесники... Нечаев усмехнулся. Он не был суеверен.

Зато Сеня-Сенечка почему-то помрачнел.

— Дай монетку, — сказал он.

Когда Нечаев протянул ему монетку достоинством в пять левов, Сеня-Сенечка подбросил ее.

— Орел! — произнес Нечав почти машинально. — Ты что задумал?

И точно, монетка упала орлом. Сеня-Сенечка поднял ее и улыбнулся.

— Теперь пошли, — сказал он.

Они спустились на дорогу, вытерли запыленные сапоги листьями папоротника, поправили пилотки и зашагали рядом.

Вскоре они догнали какого-то старика болгарина, который шел, опираясь на суковатую палку. На старике была высокая баранья шапка. Он посасывал глиняную трубочку, то и дело поглядывая на своего мула, на которого были навьючены корзины с виноградом. Лицо у старика было темное, морщинистое.

Нечаев чуть было не сказал: «Привет, батя...», но вовремя спохватился. Немецкий солдат Гуго Реслер вряд ли станет приветствовать простого болгарина да еще по-русски. На месте Сени-Сенечки Костя Арабаджи шепнул бы ему: «Ша, не зарывайся...» А лейтенант Гасовский посоветовал бы: «Возьмите себя в руки, мой юный друг».

В свою очередь, старик болгарин тоже притворился, будто не замечает немецких солдат. Его трубочка булькала.

И пусть... Нечаев ускорил шаг. Обогнав старика, он и Сеня-Сенечка приблизились к длинной повозке с высокими скошенными бортами, на которой восседала черноокая молодлица в домотканом шерстяном сарафане.

Такие повозки можно увидеть и под Одессой, и под Николаевом. Да и сама молодлица была похожа на колхозницу. Подойдя поближе, Нечаев невольно улыбнулся ей, но та отвернулась от него, поджав красивые губы. Было ясно, что местные жители не очень-то жалуют оккупантов: прошло уже полгода, как немцы ввели в Болгарию свои войска.

Было жарко. Нечаев снял пилотку и сунул ее под погон, как это делали те немцы, которых он видел под Одессой. А Сеня-Сенечка ограничился тем, что расстегнул ворот мундира.

Дорога, по-видимому, охранялась только ночью. Пройдя несколько километров, Нечаев и Шкляр не встретили не только мотоциклистов, но даже жандармов.

«На Шипке все спокойно», — подумал Нечаев.

Дорога шла параллельно морю, так близко от него, что прохладная синева заливала глаза. На виноградниках гнули спины женщины. Но вот дорога раздалась вширь, взору открылся небольшой майдан, и Нечаев

увидел старую корчму, возле которой стояло с десятков повозок и арб.

Корчма — низкий дом с облупившейся штукатуркой — стояла на пригорке. Перед крыльцом на щербатых каменных ступенях сидела молодая цыганка с жемчужными зубами, гадавшая какой-то крестьянке на бобах. Нечаев и Шкляр прошли мимо них. Нечаев толкнул дубовую дверь, усеянную для прочности широкими шляпками гвоздей, и на него дохнуло острым запахом поджаренного лука.

За длинным дубовым столом на узких скамьях, покрытых потертыми пестрыми ковриками, сидели крестьяне. В корчме было накурено и шумно. Но стоило Нечаеву и Шкляру переступить порог, как говор и песни сразу стихли. Нечаева ужалили десятки черных глаз.

Земляной пол, потемневшие от времени деревянные балки... Нечаев осмотрелся, привыкая к полумраку. В стороне от деревянной стойки был старинный очаг с железной цепью, на которой висел черный котел, и свод над ним тоже был угольно-черен от многолетнего дыма и копоти.

Корчмарь, стоявший за стойкой, выжидательно молчал. Это был крепкий человек лет пятидесяти с влажными вислыми усами.

Нечаев бросил на стол монетку и вопросительно посмотрел на хозяина. Этого хватит?

Тот любезно осклабился, хотя в глазах его был все тот же недобрый режущий блеск, и поставил на деревянный поднос две рюмки сдобренной медом сливянки. Он знал, чем надо потчевать немецких солдат. Тем подавай шнапс.

Но Нечаев покачал головой. Они хотят есть.

Корчмарь кивнул, что понял. Сейчас он угостит дорогих гостей. Но придется малость подождать.

Выслушав его скороговорку, Нечаев и Шкляр медленно прошли в дальний угол и присели на трехногие табуретки. Краем глаза Нечаев видел, как корчмарь перемигивается с крестьянами. Те сосредоточенно макали хлеб в какой-то темный соус. Повернувшись к ним спиной, Нечаев проглотил слюну.

Ждать пришлось минут десять.

Наконец корчмарь принес им жирную баранью бастурму, брынзу и испеченные на жаровне в постном масле и укусе стручки красного перца. Отведав этого блюда, Нечаев застыл с открытым ртом. Он словно бы проглотил горящий факел.

Между тем корчмарь с самым невинным видом справился, нравится ли господам солдатам его кушанье.

— Гут, зер гут, — пробормотал Нечаев и потянулся к рюмке, чтобы залить пожар сливянкой.

После этого ему сразу полегчало. А когда корчмарь принес густое, почти черное вино, которое пахло нагретой на солнце смолой, Нечаеву и вовсе стало хорошо. Показалось, будто он дома, будто за соседними столами сидят старые дядьки из-под Александровки или Кубанки и тихо, неторопливо толкуют о своих колхозных делах, а сам он в отпуске, и стоит ему выйти на улицу, залитую солнцем, как он увидит своего деда, увидит красное полотнище с надписью: «Добро пожаловать» над крыльцом школы-семилетки, и прислоненные к этому крыльцу велосипеды, и белых гусей в белой пыли возле криницы... За весь день Нечаев не слышал ни одного выстрела и как-то уже успел позабыть о войне.

Но стоило ему взглянуть на Сеню-Сенечку, сидевшего напротив в ненавистном Нечаеву мундире мышинного цвета, как он сразу вспомнил, что и на нем сейчас точно такой же мундир, и снова почувствовал себя

на войне, которая из-за солнечной тишины, лежавшей за открытой дверью корчмы, была еще страшнее, чем на черной грохочущей передовой. Война была и здесь. Она подстерегала его за каждым углом, за каждым поворотом дороги.

В город они попали только около пяти часов пополудни на попутном грузовике.

Город был невелик. Он напомнил Нечаеву родную Одессу. Такие же дома с железными балкончиками, такие же пыльные акации... Морские ветры просквозили его тесные улочки, и пористый камень, из которого были сложены его дома, приобрел оттенки древнего мрамора, слегка пожелтевшего от солнечных лучей.

Вот только виадуков здесь не было.

Но если улицы и дома Варны напоминали старую Одессу, то пестрый городской люд, шаркавший подошвами по тротуарным плитам, жил какой-то непонятной и чуждой Нечаеву жизнью. Вот идет продавец шербе-та. В белой феске, с медным бидоном за спиной... Разве увидишь такого на шумном одесском Привозе? Да и такого напыщенного индюка тоже не встретишь в Одессе... Им навстречу медленно шел болгарский офицер с блестящими звездочками на коричневых погонах. Нечаев невольно замедлил шаг. Он чуть было не откозырял офицеру. Но разве немецкий солдат должен приветствовать какого-то болгарина? Когда офицер вскинул руку к фуражке, Нечаев как бы нехотя ответил на приветствие.

К счастью, немцев на улицах почти не было. Раз или два, заметив издали мышинового цвета мундиры, Нечаев и Шкляр тут же ныряли в ближайшие подворотни — подальше от греха. А потом снова печатали шаг, задирали подбородки, как это подобает доблестным солдатам великого рейха.

Они шли наугад. Знали, что рано или поздно попадут на базарную площадь, от которой до мечети рукой подать. А там, за мечетью, они найдут и сапожную мастерскую... Расспрашивать прохожих было рискованно. Остановишь вон того гимназистика, а он, чего доброго, начнет шпарить по-немецки. И господин в котелке — тоже. И дама с зонтиком...

Они прошли мимо театра, выходявшего фасадом на площадь. Театрик был маленький, неказистый, до одесского оперного ему было далеко. Зато храм святой богородицы выглядел мощно, внушительно. Окна на колокольне имели форму крестов.

Но тут из-за угла появилось трое парней в синих клешах с тесаками у поясов. Не то юнкера, не то кадеты или как там они называются. На всякий случай Нечаев и Шкляр отвернулись к витрине. На стеклянных полочках стояли флаконы духов. «Парфюм д'авантюр», — прочел Нечаев. Он охотно читал все вывески, все надписи и афиши. «Пивница», «Сладкарница»... Не ошибешься, если зайдешь. Но когда он слышал быструю болгарскую речь, то не мог разобрать ни слова.

Наконец, свернув на какую-то боковую улочку, они увидели кузницу, в которой подковывали тощего вола, и, пройдя мимо нее, попали на базарную площадь. Рыбный, овощной, гончарный ряды... Немолодая крестьянка продавала тыквы. Высоченный парень был увешан стручками перца. Солнце садилось, и торговля шла не очень бойко.

— А вот и мечеть... — тихо сказал Сеня-Сенечка.

Мечеть стояла за деревьями. Оттого Нечаев и не увидел ее. Сдерживая нетерпение, они медленно пересекли улицу и подошли к сапожной мастерской.

Дверь мастерской была открыта. В глубине на низком стульчике сидел человек в кожаном фартуке, стучавший кривым молотком. За его спиной мальчишка

лет двенадцати, очевидно подмастерье, раскладывал на полках деревянные колодки.

Пахло ваксой, хромом и юфтью. Нечаев бросил быстрый взгляд направо, потом налево. Никого! Надо было попытать счастья.

— Я подожду на улице, — тихо сказал Сеня-Сенечка. — В случае чего...

Нечаев кивнул.

Войдя в мастерскую, он остановился над сапожником и кашлянул. Тот поднял голову. Его рот был набит гвоздями, и он выплюнул их в ладонь.

— Век!.. — резко сказал Нечаев, указав рукой на мальчика.

Сапожник повернулся к мальчику, что-то сказал ему по-болгарски, и тот пулей выскочил на улицу.

Глаза сапожника и Нечаева встретились.

— Де твоего момиче? — хрипло спросил Нечаев.

— Легна сп вече, аго, — спокойно ответил сапожник. Он ничуть не удивился этому странному вопросу.

— Иван Вазов, — сказал Нечаев.

— Под игото. Роман в три части, — так же спокойно произнес сапожник и поднялся со стульчика.

Нечаев вздохнул с облегчением. Пот струился по его лицу.

— Вот уж не думал... — сказал сапожник по-русски. — С прибытием. Так, кажется, у вас говорят?

Нечаев пожал его крепкую руку.

— Сторожа на винограднике не было, — сказал он. — Там все вверх тормашками... Вот и пришлось...

— Сторожа забрали. Вчера вечером. Я знаю.

— Кто, немцы?

— Наши же, жандармы, — ответил сапожник. — Осторожно, там кто-то ходит...

— Это мой товарищ, — сказал Нечаев, покосившись на дверь.



— Другарь? Пусть войдет.

Нечаев выглянул и подозвал Шкляра. На улице не было ни души. Сапожник уже опускал жалюзи. Потом, когда Шкляр вошел в мастерскую, сапожник зажег лампу и запер дверь изнутри.

Из мастерской они прошли в подсобку, напоминавшую захламленный чулан. Осторожно приоткрыв дверь, которая вела в тесный дворик, обнесенный каменной стеной, сапожник снова закрыл ее. Дверь скрипнула.

— Генчо, — назвал себя сапожник, протягивая Сене-Сенечке жесткую ладонь. — Садитесь, в ногах правды нет. Так, кажется, у вас говорят?

Он тщательно подбирал слова.

— Мы...

— Не надо, — сапожник покачал головой. — Ничего говорить не надо. Теперь чем меньше знаешь, тем лучше.

Нечаев вспомнил о мальчике, которого сапожник куда-то отослал. Подмастерье может вернуться.

— Это мой сын, — сказал сапожник. — Славко. Он, как это по-вашему, будет молчать как рыба.

— А ты, батя, здорово говоришь по-нашему, — сказал Шкляр, и по его голосу Нечаев понял, что Сеня-Сенечка все еще не доверяет сапожнику.

— Раньше я совсем хорошо умел говорить. Давно. Позабыл уже.

— Ты что, бывал у нас?

— В тысяча девятьсот... восемнадцатом. Мы тогда всю зиму простояли в Севастополе.

Нечаева тогда еще на свете не было. Он переспросил:

— Когда?

— Год тысяча девятьсот восемнадцатый... Я тогда молодым был. Как вы. Служил на крейсере «Надежда». Мы отказались воевать против русских братьев. А нас за это... Как бы вам объяснить? Портупей-юнкера Спаса Спасова приговорили к смертной казни. А мне четыре года пришлось отсидеть. Нас уже здесь судили, в Варне, когда мы домой вернулись.

Сняв кожаный фартук, сапожник повесил его на гвоздь.

У Нечаева подкашивались ноги. Он присел на железную кровать и прислонился к стене. Хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать.

Еще вчера в это время они были в кают-компании на своей лодке. Вчера! Но с тех пор, казалось, прошла половина жизни. У него было такое чувство, словно его жизнь раскололась надвое. За последние двадцать часов он прожил не меньше, чем за предшествовавшие им двадцать лет.

— Придется здесь пробыть до вечера, — сказал сапожник.

Нечаев посмотрел на Сеню-Сенечку.

— Мы, батя, в твоей власти, — ответил Сеня-Сенечка, который уже проникся доверием к сапожнику. — Тебе виднее.

Усевшись рядом с Нечаевым, он вытянул ноги. До вечера так до вечера. Ему спешить некуда, все равно ждать еще трое суток с лишним. Теперь это снова был тихий застенчивый паренек времен Гасовского и капитан-лейтенанта, паренек, который не способен муху обидеть, а не тот Сеня-Сенечка, который глухо сказал Нечаеву, чтобы он погодил хоронить Гришку Трояна, а потом расправился со здоровенным фрицем. Но, подумав об этом и вспомнив Гришку Трояна, Нечаев весь подобрался. Спросить или нет? Он все еще надеялся и боялся услышать правду, которая могла поло-

жить конец всем надеждам. Но не спросить он тоже не мог.

— Нас было четверо, — сказал он, стараясь не смотреть на сапожника. — Вы случайно не знаете...

Генчо, казалось, не расслышал. Тогда Нечаев спросил напрямик:

— Говори, батя, не томи душу.

— Их уже нет.

— Что?!

— Их нашли только утром. Водолазы. Все дно в бухте обыскали, — сапожник тщательно подбирал слова. — Комендант порта бегал, хватался за голову, награду обещал... Обязательно хотели найти.

— Не верю, — упрямо сказал Сеня-Сенечка. — Не верю, чтобы Гришка Троян...

— Потом, когда их нашли, немцы объявили, что это болгары, партизаны. Они взяли заложников, сорок человек. Хватали прямо на улицах. Мужчин, женщин.

— А «Дельфин»? — спросил Нечаев.

— Какой дельфин, не понимаю? — Генчо провел рукой по небритому подбородку.

— Торпеда... — объяснил Нечаев. — Торпеду тоже подняли?

— Нашли какие-то куски железа. Немцы их увезли на грузовике. Под охраной. Наш человек в порту работает, он видел... Там такое делалось! До утра полыхало. Один танкер и один большой пароход вот так, — Генко переломил на колене какую-то щепку. — И еще один затонул, поменьше. Теперь в порт никого не пускают. Ферботен! Оцепили весь порт.

Он замолчал, подбирая новые слова.

— Погибли ваши друзья, — сказал он после паузы. — Наш человек сказал: один белобрысый, большой, а рядом с ним маленький. У большого на руке была такая, с хвостом. Как это по-вашему?

— Русалка, — сказал Нечаев. Троян, Троян... Ему показалось, будто из темноты Троян печально улыбается. Дескать, виноват, что погиб, виноват, что покинул вас в такое время, когда еще воевать и воевать.

Нечаев вытащил сигарету, прикурил от керосиновой лампы и поперхнулся. Говорить не хотелось. Он видел, как Генчо ставит на ящик горшок со свежей капустой, нарезает хлеб. Генчо орудовал сапожным ножом споро и бесшумно.

В дверь тихо постучали. Со двора.

— Это мой Славко, — сказал сапожник.

Сквозь узкую щель в чулан проник пучок света. День еще не кончился.

Сапожник не впустил мальчика, а только что-то сказал ему и снова набросил на дверь железный крючок. Он послал сына за вещами. Им надо переодеться. На форму могут обратить внимание, она бросается в глаза. Другое дело простой пиджак. Мало ли ходит людей по городу? Так безопаснее. Никто не удивится, если увидит, что он ведет к себе гостей.

— А это куда, в печку? — спросил Нечаев, которому давно хотелось сорвать с себя чужой мундир.

— Зачем в печку? Он еще может пригодиться, — ответил Генчо.

Улица, на которую они вышли, называлась именем какого-то экзарха\*. Смеркалось. Дома смотрели на улицу зарешеченными окнами. На подоконниках стояли в глиняных горшочках неяркие цветы. Нечаеву запомнилось, что железные балкончики были выкрашены в желтый цвет.

Шли в обнимку. Генчо посередке, а Нечаев и Шкляр

---

\* Э к з а р х — архиепископ (греч.).

по бокам. Они чуть-чуть покачивались, как подвыпившие мастеравые, и редкие прохожие уступали им дорогу.

Пройдя мимо торговой гимназии, они свернули в неказистый переулок, и Генчо, замедлив шаг, шепнул: «Здесь».

Он толкнул калитку, и она впустила их во дворик, который, очевидно, мало чем отличался от других. На узкую длинную галерею, опоясывавшую весь второй этаж каменного дома, вела крутая лестница.

Открыла им жена сапожника, Генчовица. Это была высокая, широкая в кости женщина лет тридцати пяти с черными смоляными косами и быстрыми глазами.

— Руснаки, — сказал ей сапожник. — Свои.

С этой минуты Нечаев и Шкляр попали в ее заботливые руки. Чем только она их не потчевала! Тут тебе и огненная чарба (суп), и кебаб-чета с приправой из красного перца с мелко нарезанным луком и неизменной фасолью, и чернослив, и пастила, и маринованные дыни. А когда приходил Генчо, пропадавший где-то по целым дням, на стол выставлялась дамаджанка — стеклянная бутылка в оплетке из прутьев, наполненная золотистой тракией, которую сапожник, по его словам, настаивал чуть ли не на сорока травах. Поднимая стакан, Генчо жмурился от удовольствия и говорил:

— Ха да е честито — за ваше здоровье! — и добавлял: — Наздраве!

Потом, подвыпив, он принимался вспоминать Севастополь, маленький домик, в котором жил рабочий Родион Петрович, которого он полюбил как брата, митинги на корабле, флаги, немцев, расхаживавших по Севастополю в остроконечных шлемах... Вот тогда он, Генчо, впервые столкнулся с немцами. Мог ли он думать, что спустя двадцать три года увидит их снова? И где, на своей родной земле!..

— Нашел о чем вспоминать! — Генчовица перебивала мужа. — Каждый день все о том же говоришь. Не надоело тебе?..

— Так это ведь моя молодость, — отвечал Генчо. — Вот тогда, в Севастополе, я стал человеком.

Он предпочитал говорить о прошлом. Ему не хотелось говорить о том, что происходит сейчас. Война... К сожалению, он ничем не мог обрадовать своих гостей. Газеты трубили о победах германского оружия на Восточном фронте, о том, что русские уже разбиты и беспорядочно отступают, трубили о трофеях... Генчо знал, что верить газетам не следует, но и обрадовать руснаков ему было нечем.

Жил он с женой и сыном в двух смежных комнатках, выходивших окнами на галерею, отчего там и в жару было прохладно и сумеречно. Комнаты были невелики и скудно обставлены. В столовой для блезиру висели портреты Гитлера и болгарского царя Бориса, про которых сапожник, поймав удивленный взгляд Сени-Сенечки, сказал с усмешкой: «Два сапога — пара», а в спальне, которую хозяева уступили гостям, стояли комод и деревянные кровати, над которыми висели фотографии самого Генчо и его жены.

В обеих комнатках приятно пахло ванилью. Война? Ничто не напоминало о ней. Война, казалось, шла где-то за тридевять земель. Но Нечаеву и Шкляру было не до отдыха.

Когда Генчо и Славко уходили из дому, Нечаев и Сения-Сенечка слонялись по комнатам, не находя себе места. Считали часы. Сытое безделье тяготило их. Говорить не хотелось. Они прислушивались к шагам Генчовицы, которая хлопотала возле плиты на кухне, а мысли их были далеко, там, где воевали Гасовский и Белкин, где высилась над морем круглая башня Ковалевского... Они как бы шагали по своему прошлому,

а не по влажным половицам (Генчовица протирала их, чтобы было не так жарко), снова и снова возвращаясь на то место, которое было на картах обозначено кружочком: «Одесса». У них было такое чувство, словно они в родной Одессе и каждую минуту к ним может войти капитан-лейтенант и бодро спросить: «Ну как, орлы?..»

Но Одесса была далеко за морем, шум которого они иногда слышали.

Так прошло без малого трое суток.

Генчо вернулся раньше обычного, и Генчовица, увидев мужа, стала накрывать на стол. Славко? Сапожник сказал жене, что сын остался в мастерской. Так надо.

На этот раз обед прошел в молчании. Генчо даже не притронулся к дамаджанке.

Наконец, когда Генчовица, убрав посуду, вышла из комнаты, сапожник прикрыл дверь и сказал, что пора собираться в дорогу. Их ждет подвода. Часа через три они будут на месте. Лодка? Будет и лодка. Ее приведут рыбаки.

— Спасибо тебе за все, — сказал Нечаев.

Генчо удивленно поднял кустистые брови.

— Это вам спасибо, — сказал он. — Без вашей помощи нам от них не избавиться, — он кивнул в сторону портретов, висевших на стене. — Мы, болгары, знаем историю. Только русские помогали нам освободиться от чужеземного ига.

Он произнес это так торжественно-громко, что Генчовица, по обыкновению хлопотавшая на кухне, услышала и приоткрыла дверь. Посмотрев на мужа и на постояльцев, она поняла все. Медленно вытерев руки, она подошла к Нечаеву и поцеловала его в лоб. Потом притянула к себе голову Шкляра, которого называла

не Семеном, а Симеоном, и перекрестила обоих на дороге.

— Ты мой джан аркадаш, — сказал Генчо, в свою очередь обнимая Нечаева. Кто знает, удастся ли им проститься в последнюю минуту, там, на берегу?..

Нечаев уже знал, что «джан аркадаш» — это лучший друг.

В комнату заглянул Славко: пора!..

Подвода стояла во дворе. Генчо разобрал вожжи, Нечаев и Сеня-Сенечка уселись сзади на мешки, и подвода медленно выехала со двора. Ее колеса затарахтели по булыжнику.

За город выехали еще засветло. Дорога не охранялась. По ней шли подводы и машины, катили велосипедисты. У каждого свое дело.

Часа через два они благополучно добрались до той самой корчмы, в которой Нечаев и Сеня-Сенечка провели несколько напряженных минут. Генчо, к их удивлению, вызвал корчмаря и что-то сказал ему. После этого, соскочив с подводы, Генчо привязал лошадь к изгороди и пригласил их войти в корчму, чтобы там дожидаться темноты.

На этот раз в корчме было пусто.

Хозяин то ли не узнал их, то ли притворился, будто видит их впервые. Он спокойно прошел за стойку и налил им по рюмке вина. Лицо его при этом не выражало ни удивления, ни любопытства. С таким же безразличием он и проводил их, когда они, дождавшись темноты, покинули корчму, чтобы пешком спуститься к морю.

Лодка уже ждала их.

Это была большая рыбацья лодка, густо, на славу просмоленная и проконопаченная. Она сливалась с темнотой.



Раздумывать было некогда. Мотоцикл им теперь ни к чему. И с автоматами на людях лучше не показываться. Без них они ничем не будут отличаться от сотен других немецких солдат, которые в свободное время расхаживают по улицам, заглядывая в магазинчики и кабачки. Но каски... Не могут они расхаживать в касках!

Подумав об этом, Нечаев стал рыться в коляске. Под брезентовым мешком он нашел солдатские пилотки и фляги.

— Фляги тоже пригодятся, — сказал он.

Сеня-Сенечка молча кивнул.

Они подкатали мотоцикл к обрыву и столкнули его вниз, в пропасть. Туда же полетели и каски и автоматы. Нечаев надел пилотку, выпрямился. Дрожащей рукой вытащил из пачки сигарету.

— Теперь можно и покурить, — согласился Сеня-Сенечка. — Давай присядем вон у того фонтанчика.

Нечаев оглянулся. В двадцати шагах от них у самой дороги белел облицованный камнем фонтанчик. Вода звучно падала из трубы в деревянное корыто, из которого, должно быть, поили скотину.

Подойдя к фонтанчику, Нечаев первым делом растегнул ворот и, нагнувшись, подставил голову под студеную струю.

— Хороша? — спросил Сеня-Сенечка.

— Холодная.. — ответил Нечаев. — И вкусная. Ты попробуй.

Дорога все еще была пуста. Над нею нависала громада леса. Нечаев и Шкляр вскарабкались по камням и углубились в чащу. Там было сыро и темно. Верхушки высоких деревьев цеплялись за ночь.

В ознаменование Дня Победы над фашистской Германией приказываю:

сегодня, 9 мая, в 21 час по местному времени произвести салют в столице нашей Родины Москве, в столицах союзных республик, в городах-героях Ленинграде, Волгограде, Севастополе, Одессе, в крепости-герое Бресте, а также в городах Мурманске, Свердловске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке тридцатью артиллерийскими залпами.

...Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

*(Из приказа министра  
обороны СССР)*

**Вместо эпилога**

**ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ**

Они ежегодно встречаются в этот день. Кто приезжает из Сибири, а кто из Средней Азии. Расстояния не пугают их. Они откладывают все дела, чтобы хоть несколько часов побыть вместе. Таков нерушимый закон фронтового братства.

В Москве они встречаются в скверике возле Большого театра и на Красной площади. В Киеве — в Первомайском парке над весенним Днепром. В Одессе — на Приморском бульваре. Они при орденах и медалях, хотя их нетрудно

узнать и так. Сразу видно: идут фронтовики, однополчане.

С грустью убеждаются они в том, что постарели. Но все так же сильно хлопают друг друга по плечу.

В Одессе буйствует весна. Каштаны на бульварах, салютуя солнцу, выбрасывают в небо нежно-кремовые свечи, и море, остуженное зимними ветрами, уже начинает наливаться чистой голубизной. И весенний ветер гонит облака.

В этот день всегда шумно в двух тесных комнатках на улице Пастера.

Здесь почти ничто не изменилось. Картина «Синопский бой» в тяжелой раме, потемневший от времени буфет с бронзовыми ручками и мраморной доской, пустая клетка, в которой когда-то сидел попугай, бювар на письменном столе...

— Как думаешь, Сеня-Сенечка приедет? — спрашивает Константин Николаевич Арабаджи. Широкий лацкан пиджака прикрывает колодки его орденов и медалей.

— Должен приехать, — отвечает Нечаев. — Он телеграмму прислал.

— Откуда?

— На этот раз из Гаваны. Они там новую машину испытывали. Какой-то комбайн. Кажется, для уборки сахарного тростника.

— Не сидится ему на месте.

— А тебе? — спрашивает Нечаев.

— Я — другое дело, — смеется Костя Арабаджи. — Я ведь географ. Братцы, а помните путеводитель по Одессе, которым я когда-то хвастал? Он у меня до сих пор хранится. Нечай, сколько ступенек в знаменитой Потемкинской лестнице? Не знаешь, по глазам видишь. Садись, двойка!..

— Я постараюсь выучить, товарищ кандидат геогра-

фических наук, — говорит Нечаев. — У вас на меня зуб.

— Будет вам, мальчики...

Это Гасовский. Он сидит в кресле-качалке. Как и прежде, он чувствует себя командиром. Он ведь старший не только по возрасту, но и по званию. Как же, капитан первого ранга... После войны он окончил военную академию и до сих пор служит на флоте. Погиб, быть может, великий артист. Но что поделывать, если стране нужны не только артисты, но и капитаны первого ранга?

— Седьмой час, — говорит Костя Арабаджи. — У меня уже пересохло в горле.

— Потерпи. Подождем еще часок.

— Можно, — кивает Гасовский. Потом спохватывается: — Братцы, а где же Яков Белкин?

— Этот придет, можешь не сомневаться, — отвечает Нечаев, не выпуская изо рта погасшей трубки.

Это та самая отцовская трубка, которую он пронес через всю войну. Браеровская.

— Ясно, — хорошо поставленным командирским голосом говорит Гасовский и поворачивается к Косте Арабаджи: — Еще вопросы будут?

Вытянувшись в струнку, Константин Николаевич отвечает, как положено по уставу:

— Никак нет, товарищ капитан первого ранга.

— То-то же, мой юный друг, — произносит Гасовский и смотрит на стол. Все ли в порядке?

Стол накрыт любовно, по-мужски, так, как это делалось на войне. На газете розовеют ломтики сала, лежит горка темной соли. Тут же две буханки черного хлеба и банка свиной тушенки, которую Константин Николаевич самолично вспорол ножом. И, разумеется, зеленое вино.

Хлеб, соль, тушенка... Чего еще желать? Это ведь не званый обед. Дома каждого ждет праздничный

стол — шпроты и сардины, рассольники и зеленые весенние борщи, холодцы и отбивные, всякие там компотики и крахмальные салфеточки. Дома!.. Но сегодня жены их не дождутся. Они будут кромсать хлеб, есть свиную тушенку с ножей. Сегодня — их мужской, солдатский день. И вход посторонним в него воспрещен.

— А товарищ конструктор заставляет себя ждать, — снова говорит Костя Арабаджи. — Нехорошо.

Он снимает пиджак, развязывает галстук. И Гасовский тоже снимает пиджак. В этом штатском пиджаке ему явно не по себе. За тридцать пять лет службы он успел отвыкнуть от такой одежонки. Вот когда он был артистом...

— Побойтесь бога, товарищ капитан первого ранга, — перебивает его Костя Арабаджи. — Мы эту историю ровно тридцать пять раз слышали.

— Неужели? — усмехается Гасовский. — Бога я, разумеется, не боюсь, но если вы не желаете...

Он умолкает. Снова возвращается мыслями в войну, в свою молодость, думает о товарищах, которые ему очень дороги. Все. У одного за плечами медсанбаты и госпитали, у другого... Каждому пришлось хлебнуть. А многих нет в живых. Не все погибли в окопах. Кое-кто уже потом, после войны.

Гасовскому становится грустно. Он смотрит на друзей. Офицеры, рядовые... Их всех уравнила война. Поэтому и сейчас они тоже равны.

— Помните, в сорок втором...

Сорок второй — это уже Севастополь. Тогда Нечеву был двадцать один. Они с Костей снова встретились там. Их батальон держал оборону на Итальянском кладбище. Встретились, обнялись... Но о своем пребывании на даче Ковалевского и о том, что они делали все это время, они оба, словно по взаимному уговору, не проронили ни слова.

— Помнишь Юрку Максимова?  
— Мировой был парень.  
— Нельзя было иначе, — глухо говорит Гасовский. — Кто-то должен был сделать это. Пулемет не давал нам жить.

Он словно бы оправдывается. Не перед другими — перед самим собой, перед собственной совестью. Не так-то просто посылать людей на смерть. Даже если тебе дано это право и сам ты тоже не трус.

«Teufeln! Schwarze Teufeln!..» — кричали немцы. Этот крик до сих пор стоял у Нечаева в ушах. Он слышал его и под Одессой, и под Севастополем.

— Ты когда был в Севастополе в последний раз?

— В прошлом году, — отвечает Гасовский. — Заехал на пару дней.

— Кого-нибудь из наших встретил?

Гасовский не успевает ответить. Раздается стук. Так и есть, это Семен Семенович Шкляр. Явился все-таки, сдержал слово.

— А как же иначе, — говорит Шкляр. — Я только сегодня утром прилетел.

Он обнимается со всеми по очереди, потом, повернувшись к Нечаеву, спрашивает:

— А где же Анна?

— Ушла к своим партизанам, — говорит Нечаев. — Присаживайся.

Последним является Белкин. Раньше он никак не мог — была срочная работенка. В честь Дня Победы они спустили на воду судно сверх плана.

— Ты все еще бригадируешь? — спрашивает Шкляр.

— Конечно, — Яков пожимает плечами. Станный вопрос! Где же ему работать, как не на родном судоремонтном?

— Так, теперь все в сборе, — говорит Костя Ара-

Баджи и присаживается на валик дивана рядом с Нечаевым. — Начнем, пожалуй.

Все молча поднимают стаканы и кружки. И пьют за тех, кто не вернулся с войны. За тех, кто лежит под Смоленском и Сталинградом, за сонной Вислой и голубым Дунаем. За тех, кто не долюбил, не дорадовался и не дострадал на планете Земля. За тех, кто навсегда остался молодым в сердцах матерей и сердцах товарищей. Ведь мертвые не старятся. Как небо. Как звезды.

Потом они пьют за Победу. Нечаев встретил ее в Потсдаме, Костя Арабаджи — в столице Австрии, Гасовский и Шкляр — на Балтике. А вот Якова Белкина комиссовали подчистую еще в сорок четвертом.

За окном взмывают ракеты. Орудийные выстрелы сотрясают тишину, расшатывают весеннее небо. Салют!.. И они снова поднимают стаканы, сдвигают их над столом.

Потом они вспоминают друзей теперь уже далекой юности. Они снова молоды, как тогда, в далеких сороковых... Сороковые широты моряки называют ревушинами. А как назвать эти годы?.. И они так же радуются тому, что живы, как и тридцать лет назад. Кто сказал, что они стали другими? Неправда...

Подперев голову рукой, Сеня-Сенечка тихо затягивает:

Темная ночь... Только пули свистят...  
Только ветер...

Когда он умолкает, Гасовский вынимает портсигар и показывает Косте фотографии своих внучат. Их у него трое. Гасовский надеется, что хоть кто-нибудь из них станет артистом...

— Возможно, вполне возможно... — бормочет Костя Арабаджи. — Они, по-моему, в деда.

— Правда? — Глаза Гасовского начинают блестеть. Нечаев смотрит на улицу, но сердцем он с друзьями, которые остались за столом. Он слышит, как Гасовский выговаривает Якову Белкину за то, что в прошлом году того с ними не было.

— Смотри, Яков, отрываешься от масс, — Гасовский грозит ему пальцем.

— Так я же никак не мог, — оправдывается Белкин. — Шоб я так жил. Я был в Болгарии, в Бургасе. Мы там док ремонтировали.

— А памятник нашему Алеше ты там видел? — спрашивает Костя Арабаджи. — Впрочем, он ведь стоит в Пловдиве.

— Не видел, — отвечает Белкин. — Нам другой памятник показали. Он поставлен двум нашим морякам, которые погибли там в сорок первом. Он стоит на гранитной скале. Весь алюминиевый. Два сомкнутых вела...

Памятник! Нечаев вздрагивает. Неужто это памятник Игорьку и Гришке Трояну? Это Генчо и его друзья постарались, не забыли. А может, уже Славко...

Иногда ему кажется, будто он никогда не был в Болгарии, будто всего этого не было. Но нет, все это было, было! Корчма на пыльной дороге, тихие улочки Варны, жесткая ладонь Генчо... Там, у далеких берегов Болгарии, погибли Игорек и Гришка Троян, которым теперь поставлен памятник. Нечаев смотрит в окно и думает о том, что, хотя прошло столько лет, еще не все сказано о минувшей войне. Не только потому, что людям свойственно забывать плохое, тяжелое. И не потому, что еще не пришло время все рассказать. Он думает молча, сосредоточенно, а потом отворачивается от окна и возвращается к столу, за которым сидят его друзья.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Комендантский час . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Штыком и гранатой . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>Через фронт . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>Соленые лиманы . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>Дом с башней . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Гостеприимное море . . . . .</b>	<b>84</b>
<b>В походе . . . . .</b>	<b>97</b>
<b>Атака . . . . .</b>	<b>112</b>
<b>На чужом берегу . . . . .</b>	<b>123</b>
<b>Четверо суток . . . . .</b>	<b>135</b>
<b>Тридцать лет спустя . . . . .</b>	<b>153</b>

**Михаил Пархомов** принадлежит к тому поколению советских писателей, которое пришло в литературу после Великой Отечественной войны. Поэтому, естественно, писатель постоянно возвращается в своих произведениях к той трудной поре.

Родился М. Пархомов в 1914 году на Украине. Рано потеряв родителей, он беспризорничал, а потом, работая на заводах токарем, одновременно учился на вечернем рабфаке. Окончил архитектурный факультет Киевского строительного института. Долгое время был журналистом, редактором разных газет.

Первая книга писателя «Из далеких путешествий» вышла в 1948 году. За ней последовали «Караваны», «Судьба товарища», «Хороший парень», «Девять баллов», «Глоток воздуха» и другие.

Широко известны читателю военные повести М. Пархомова «Мы расстреляны в 42-м» и «Был у меня друг», переведенные на многие языки. В издательстве «Молодая гвардия» выходили его повести «Игра начинается с центра», «Царевны ходят босиком» и сборник «Нелетная погода».